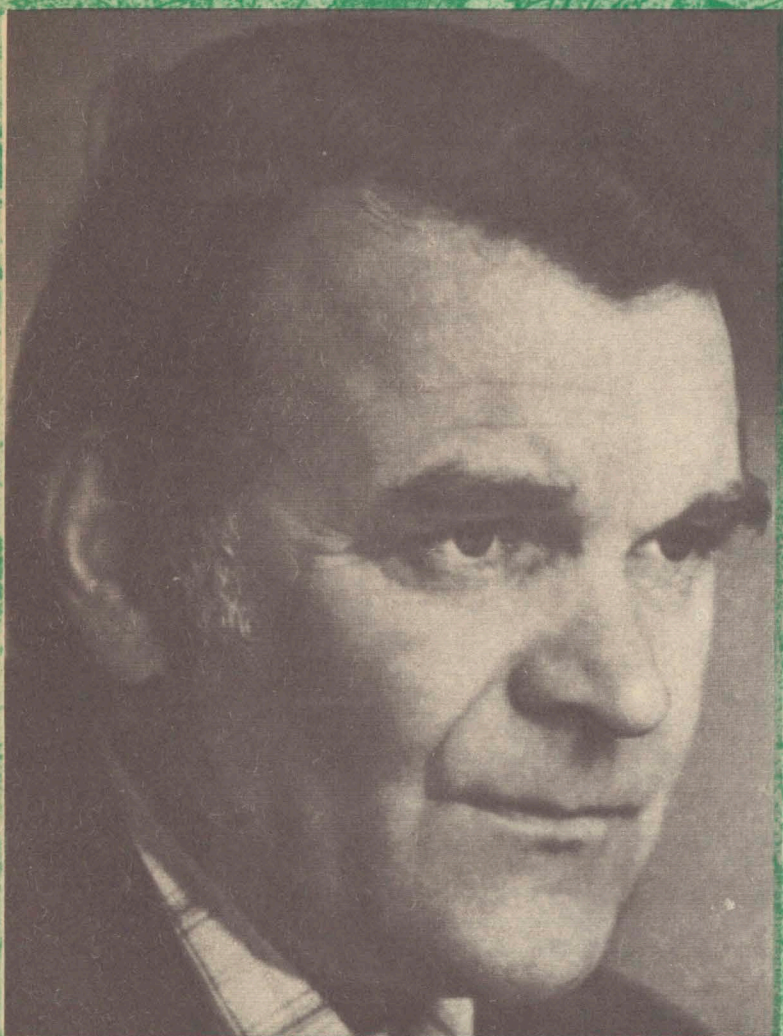


РОМАНЫ ГАЗЕТА

№20(858) · 1978



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

МГНОВЕНИЯ

ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ, ЧУВСТВО ИСТОРИИ

Юрий Васильевич Бондарев — автор повестей «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), «Родственники» (1969), романов «Тишина» (1962), «Двое» (1964), «Горячий снег» (1969), «Берег» (1975), лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР.

Когда-то Юрий Бондарев сказал, что поначалу долго считал себя прозаиком малой формы. В новой книге «Мгновения» писатель демонстрирует высокое мастерство в создании этой формы. Здесь каждый рассказ, эскиз, набросок, этюд производят впечатление законченности. Недаром снабжены они заглавиями — в них есть внутренняя закономерность. Сгущение, концентрация мысли и чувства обуславливают компактность формы, близкую к поэтической.

«Мгновения» есть произведение определенного — сложного — жанра, вызванного к жизни стремлением писателя к углубленному, философскому осмыслению диалектики современного бытия. Вникая в своеобразное обаяние этого произведения, читатель не только прикаснется к миру раздумий и чувствований яркой художественной личности, но и найдет созвучие многим своим сегодняшним душевным заботам, проникнет-ся пониманием высокой интеллектуальной насыщенности нашего времени.

Уже в романе «Берег», сделав героя писателем по профессии, Юрий Бондарев приблизил нас к себе, к своему ощущению окружающего. «Мгновения» не просто продолжают это приближение, в смелой доверительности этой книги заключена высокая степень коммуникабельности.

В «Мгновениях» Юрий Бондарев ищет и находит новые формы общения с читателем, «допуская» его к самым глубинам своего творчества, его мукам. Эта открытость помогает ему в решении стоящего перед каждым серьезным художником вопроса о месте писателя в современном мире, о его возрастающих обязанностях, о непрерывной этической функции искусства.

Если сердце писателя страдает и болит за другого человека, за всякое живое существо на земле и за саму нашу Землю — боль эта отзывается и в нас. «Не эти ли минуты — звездные мгновения моей жизни?» — спрашивает себя автор, описав момент острого ощущения родства другого человека («Охотник и рыбак»). «Что же такое было тогда в моей душе? Было тихое согласие с самим собой, — может быть, это и есть счастье?» («В тайге»).

Открытая автобиографичность многих страниц «Мгновений», умение автора через личное и индивидуальное передать общее и типическое несет в себе ответ на вопрос, что же такое писатель сегодня. Беспощадная душевная распахнутость («Отец», «Быки», «Малярия») заставляет особенно остро воспринимать сложный мир художника. Осознавая, что реальная «действительность выше даже самой неограниченной, гениальной фантазии», что «жизнь неизмерима воображением» и «творчество человека никогда не достигает исчерпывающей красоты или всей безобразности многоликой и многогранной реальности», писатель пытается воссоздать в своих произведениях подлинную правду жизни.

Чувство времени, чувство истории, в такой высокой степени присущее Юрию Бондареву, пронизывает «Мгновения». В том, как ставятся им древние, они же и современные, вопросы жизни и смерти, молодости и старости, гармонии, счастья, любви («Ожидание», «Крик», «Звезда и Земля», «В некий час»), выразились понятия нашего современника, человека гуманистического мировоззрения, умеющего видеть историю как часть собственной биографии и имеющего на это право. Размышления о «молниеносной быстроте уходящего времени» («Миг», «Апрельский день», «Ожидание»), осознание факта конечности бытия — все это принадлежит представителю поколения, видевшего смерть в глаза еще на самом пороге юности. Отсюда особое чувство «момента и его цены — цены жизни», неповторимости мгновений жизни, почти материальное ощущение времени и понимание радости бытия, «ежедневного существования в окружающем мире». «Наше поколение — те, что остались в живых, — вернулось с войны, сумев сохранить, пронести в себе через огонь этот чистый, лучезарный мир, непреходящую веру в будущее, в молодость...»

Несколько десятков самых разноплановых сюжетов, персонажей... И все-таки есть здесь главный, центральный герой. Это — искания напряженной писательской мысли, определяющие внутренний драматизм книги «Мгновения».

ИРИНА БОГАТКО

РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№20(858)
1978



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ЮРИЙ БОНДАРЕВ МГНОВЕНИЯ

...Всякая книга начинается гораздо раньше, чем написана первая строка. Много лет назад я задумал написать не повесть, не роман, не хронику, а книгу — мозаику человеческой жизни, в которой пойманные мгновения бытия предельно обобщали, обостряли бы ощущения людей, заставляя их задумываться о самих себе. Мне казалось, что это можно сделать, призвав в сообщники безжалостную краткость, настроение, четкость сюжета, а главное — слитое двоевластие мысли и чувства, господствующих на очень маленькой территории двух-трех страниц.

АВТОР

-
- © Издательство «Молодая гвардия», 1977 г.
 - © «Новый мир», 1977 г.
 - © «Наш современник», 1978 г.



1

ОЖИДАНИЕ

Лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть, вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов, мерзло визжали колеса под полом, будто потягивало, тянуло постель то вправо, то влево, и было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе, и я торопил бешеный бег поезда: скорей, скорей домой!

И вдруг поразился: о как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоприятно отсчитывал время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось до дикости странным, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность, а та каждодневная земная жизнь — замедленная, ненастоящая — имела только отдельные вехи радости, все же остальное представлялось настоя-

щими промежутками, бесполезными расстояниями, прогонами от станции к станции.

Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году, я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть ее, с портфельчиком, в легоньком платьице, в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет возле меня, и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчика наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица, и затем с той же тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички, раскачивающиеся на прямой напряженной спине. Тогда ничего не существовало в мире, кроме кратких минут этой встречи, как не существовало и в юности реального бытия до того блаженного часа одурманивающих

прикосновений, стояния в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неутоленности поцелуев. И мы оба, молодые, ненасытные, сильные, сумасшедшие изнемогали от неразрешенной до конца нежности, как в сладкой пытке: ее колени прижаты к моим коленям, и, отрешенные от всего человечества, одни на лестничной площадке, под тусклой лампочкой, мы были на последней грани близости, но не переступали эту грань — нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты.

Ночь светлела за окном, исчезали обыденные закономерности, движение земли, созвездий, переставал падать снег над безмолвными рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, будто в белой пустоте вселенной, заваливая мостовые; переставала существовать сама жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти, ибо уже не были подвластны ни времени, ни пространству, — а мы создавали, творили что-то особенно таинственное, главное, сущее, в котором рождалась совсем иная жизнь и совсем иная смерть, неизмеримые сроком XX столетия. Мы возвращались куда-то назад, в счастливую бездну изначальных на земле мгновений, когда не было рационалистических расчетов, в мгновения первозданной любви, толкнувшие мужчину к женщине, раскрывшие перед ними веру в бессмертие.

Гораздо позднее я понял, что любовь мужчины к женщине есть великий акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие в мире власти любви делает человека не покорителем, а безоружным властителем, подчиненным всеобъемлющей доброте природы.

Нет, я не думал об этом тогда, но, если бы спросили, согласен ли, готов ли ради встреч с ней в том подъезде, возле паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыхания отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов!..

Иногда думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, бесконечным, мучительным сроком прерванного свидания с радостью, то есть все, что мы делали, было за дальними границами любви. А впереди, за пожарами задымленного, прорезанного пулеметными трассами горизонта, манила нас надежда на облег-

чение, вожденная мысль о тепле в тихом домике среди леса или на берегу реки, где должна произойти какая-то встреча с незавершенным прошлым и недостижимым будущим. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе очищало наши души от смрада висящей над окопами смерти.

Я помню первый успех в жизни и предваряющий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона после разговора (никого не было дома) и сдавленным шепотом воскликнул в приливе счастья: «Черт возьми, наконец-то!» И полубезумно подпрыгнул молодым козлом возле телефона, и начал ходить по комнате, разговаривая сам с собой, потирая руками грудь. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту со стороны, то подумал бы, вероятно, что перед ним сумасшедший мальчишка. Однако я не сошел с ума, я просто был на пороге того, что представляло важнейшей вехой моей судьбы.

До радостной точки успеха, до знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить собственное «я» счастливого человека, нужно было еще ждать не один месяц. И если бы опять спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за сокращение времени, за то, чтобы сразу приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок...

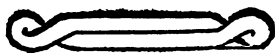
Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени?

И только сейчас, прожив свои лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю былой остроты радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата.

Почему? Я постарел? Устал? Пресытился?

Нет, только теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире, и я поздно осознаю: какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием цели дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данной нам единый раз как драгоценный подарок.

И все-таки: чего я жду?..



ОРУЖИЕ

Когда-то, очень давно, на фронте, я любил рассматривать трофейное оружие.

Гладко отшлифованный металл офицерских парабеллумов отливал вороненой чернотой, рубчатая рукоятка как бы сама просилась в объятия ладони, спусковая скоба, тоже до щекотной скользкости отполированная, требовала погладить ее, просунуть указательный палец к твердой упругости спускового крючка; предохранительная кнопка легко сдвигалась, освобождая золотистые патроны к действию, — во всем готовом к убийству механизме была чужая томлящая красота, какая-то тупая сила призыва к власти над другим человеком, к угрозе и подавлению.

Браунинги и маленькие «вальтеры» поражали своей игрушечной миниатюрностью, никелем ствольных коробок, пленительным перламутром рукояток, изящными мушками над круглыми дульными выходами — в этих пистолетах все было удобно, аккуратно выточено, все сияло женственной нежностью, и была ласковая смертельная красота в легких и прохладных крошечных пулях.

И как гармонично сконструирован был немецкий «шмайссер», почти невесомый, совер-

шенный по своей форме автомат, сколько человеческого таланта было вложено в его эстетическую стройность прямых линий и металлических изгибов, манящих покорностью и словно бы ждущих прикосновения к себе.

Тогда, более тридцати лет назад, я многого не понимал и думал: наше оружие грубее немецкого, и лишь подсознательно чувствовал некую противоестественность в утонченной красоте орудия смерти, оформленного как дорогая игрушка руками самих людей, смертных, недолговечных.

Теперь же, проходя по залам музеев, увешанных оружием всех времен — пищалями, саблями, кортиками, кинжалами, секирами, пистолетами, — видя роскошную инкрустацию оружейных лож, бриллианты, вправленные в эфесы, золото, сверкающее в рукоятках мечей, я с тошнотным чувством сопротивления спрашиваю себя: «Почему люди, подверженные, как и все на земле, ранней или поздней смерти, делали и делают оружие красивым, даже изящным, подобным предмету искусства? Есть ли какой-нибудь смысл в том, что железная красота убивает самую высшую красоту творения — человеческую жизнь?»



ЗВЕЗДА ДЕТСТВА

Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин Галактики, из запредельных высот, двигалась за мной, когда я шагал по пыльной ночной дороге, стояла меж деревьев, когда я остановился на опушке березняка, в прохладе тихой листвы, и смотрела на меня, лучась родственно, ласково из-за черной крыши, когда я дошел до дома.

«Вот она, — думал я, — эта моя звезда, вся

теплая, участливая, звезда моего детства! Когда я видел ее? Где? И может быть, я обязан ей всем, что есть во мне хорошего, чистого? И может быть, на этой звезде будет последняя моя юдоль, где примут меня с тою же родственностью, которую я ощущаю сейчас в ее добром, успокоительном мерцании?»

Не было ли это общение с вечностью, разговор с космосом, что до сих пор все-таки пугающе непонятен и прекрасен, как таинственные сны детства?!



КРИК

Была осень, теплый, ясный день, везде в воздухе разлита мягкая розоватая дымка, осыпались с тополей листья, летели, скользили по асфальту мостовой, мелькали мимо пригретых бабьим летом стен домов. В этом тихом уголке московской улицы до ступиц утопали в шуршащих ворохах осеннего золота колеса машин, как бы покинутых, грустно стоявших в долгом одиночестве вдоль обочин, и сухие листья лежали на крыльях, на радиаторах, собирались кучками на ветровых стеклах, а я шел, слушал хруст под ногами и думал:

«До чего хорошо ощущение этого тихого дня и как хороша поздняя солнечная осень — ее ветерок, ее винный запах, ее листья на тротуарах и машинах, ее тепло и ее горная свежесть... Никогда вот так не замечал, как добра природа в своем обновлении и утратах. Да, да, все естественно и потому прекрасное!..»

И тут мне почудилось, что где-то в доме, над этими безлюдными тротуарами, одинокими машинами, засыпанными листьями, кричала женщина.

Я вздрогнул, остановился, я поднял голову, глядя на освещенные солнцем окна, пронзенный неожиданным страшным криком боли, страдания, как будто там, на верхних этажах обычного московского дома, пытали человека, заставляя его корчиться, извиваться в муке под каленым железом. Они были все одинаковы, эти окна, были уже по-предзимнему закрыты наглухо, а крик женщины то затихал, визгом и рыданиями последнего отчаяния, какое бывает перед холодом небытия и бездной...

Что там было? Кто мучил ее? Зачем? Почему она рыдала так страшно?

И все погасло во мне — и благословенный московский листопад, и свет осеннего дня, и умиление естественной прекрасной порой бабьего лета, и почудилось, что это кричало от непереносимой боли само человечество, потерявшее ощущение великого и единственного блага всего сущего — радости неповторимого своего существования.



РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

Когда я сына в армию провожала, очки черные надела, иду, думаю: заплачу если, он не увидит меня такой. Хотела, чтоб красивой он меня запомнил...

Гармошка там, парни знакомые были, прощались все, и дядя пришел, Николай Митрич, четырнадцать медалей у него за войну, и нетрезвый уже. Смотрел он, смотрел на парней, на девушек, на Ванечку-то моего и заревел, ровно ребенок. Я сына не хочу расстроить, очки у меня черные, терплю, говорю ему: «Ты на дядьку не смотри, пьющий он, слезы-то пустил. Ты в Советскую Армию идешь, я тебе посылочку пришлю, денежек, ты внимания не обращай...».

А он — дерг мешок-то и пошел, отворачивается от меня, чтобы нервы не показать, расстройство свое. И не поцеловал даже, чтоб чего не случилось. Так и проводила я Ванечку... По десятичке ему посылаю...

А красивый он у меня, девушки ему перчатки дарили. Приходит однажды, говорит: «Вот перчатки Лидка дала, заплатить ей, мама, или как?» — «А ты, — говорю, — ей тоже чего подари, и хорошо будет».

Токарем он работал, да стружка в глаз попала, потом в шоферы пошел, да машиной ворта какие-то своротил, отчаянный и глухой был, а тут — в армию. Солдат он сурьезный сейчас, на посту стоит. В письмах пишет: «На посту стою, мама».



ОТЕЦ

Летний среднеазиатский вечер пахнет пылью; сухо шелестят велосипедные шины по тропке вдоль арыка, заросшего карагачами, верхушки которых купаются в сладостно-покойном после солнечного ада закате.

Я сижу на жесткой раме, вцепившись в руль, мне позволено хозяйничать сигнальным звоночком с полукруглой никелированной головкой и тугим язычком, отталкивающим палец при нажатии. Велосипед катится, звоночек тренькает, делая меня взрослым, мужественным, особенно потому, что за спиной отец вращает педали, поскрипывает кожаным седлом, а я чувствую его тепло, движение его коленей — они то и дело задевают мои ноги в сандалиях.

Куда мы едем? А едем мы в ближнюю чайхану, что находится на углу Конвойной и Самаркандской, под старыми тувовниками на берегах арыка, который по-вечернему розовеет, прохладно бормочет между глинобитными дувалами. Потом мы сидим за столиком, липким, покрытым клеенкой, пахнущей дыней, отец заказывает пиво, разговаривает с веселым чайханщиком, усатым, приветливо-крикливым, грубо загорелым до черноты. Тот протирает бутылку тряпкой, ставит два стакана перед нами (хотя я не люблю пиво), при этом подмигивает мне, как взрослому, и, наконец, подает в блюдечках жареный миндаль, осыпанный солью... Помню вкус этих хрустящих на зубах зерен, прозрачный лимонный воздух за чайханой, силуэты минаретов среди заката, плоские крыши в окружении пирамидальных тополей...

Отец, молодой, сильный, в белой рубашке, улыбается, смотрит на меня, и мы, будто во всем равные мужчины, наслаждаемся здесь после рабочего дня тишиной, вечерней свежестью арыка, зажигающимися огоньками в городе, холодным пивом и пахучим миндалем.

И очень четок в памяти моей еще один вечер.

В маленькой комнате он сидит спиной к окну, а во дворе сумерки, безмолвие; чуть-чуть колышется тюлевая занавеска; и непривычной кажется мне защитного цвета тужурка на нем, и странно темнеет полоска пластыря повыше его брови. Я не могу сейчас вспомнить, почему отец в позе долго не бывшего дома мужчины сидит у окна, почему такая пустынная тишина в мире, но мне представляется, что вроде бы он вернулся с войны, ранен, разговаривает о чем-то с матерью (говорят они оба почти беззвучными голосами), — и ощущение разлуки, смутной и сладкой опасности, неизмеримого страдания, лежащего за тихим двором, недавнего отцовского мужества, которое было проявлено где-то, заставляет меня испытывать и

умиленную близость к нему и почти восторг при мысли о домашнем уюте собранной опять вместе нашей семьи в этой маленькой комнате, похожей на спальню с белыми покрывалами на кроватях.

О чем говорил он с матерью — не знаю. Знаю лишь, что тогда и в помине не было войны, однако летние сумерки в безмолвном дворе, пластырь на виске отца, его военного крою тужурка, задумчивое лицо матери — все так подействовало на мое детское воображение, что и сейчас я готов поверить: да, в тот вечер отец, счастливый и грустный, вернулся, раненый, с фронта. Впрочем, более всего поражает другое: много лет спустя, в некий час победного возвращения (в сорок пятом году), я, подобно отцу, сидел у окна в той же родительской спальне и, как в детстве, снова пережил всю остроту ощущения встречи, как если бы прошлое повторилось. Может быть, давние чувства были предвестьем моей солдатской судьбы и я прошел по пути, предназначенному отцу, то есть сделал, исполнил недоделанное, недоисполненное им? В раннюю пору своей жизни мы тщеславно преувеличиваем возможности собственных отцов, воображая их всесильными рыцарями вселенной, в то время как они всего лишь обыкновенные смертные с заурядными заботами.

До сих пор помню день, когда я увидел отца так, как никогда раньше не видел его (мне было тогда лет двенадцать), — и это ощущение живет во мне пронзительной виной.

Была весна, долгие солнечные дни, я толкался со школьными друзьями около ворот (играли в «жестку» на сухом, уже майском тротуаре) и, весь потный, радостный, неожиданно заметил знакомую невысокую фигуру неподалеку от дома. Переулок был по-весеннему яростно залит солнцем, нежно, сквозисто зеленели тополя за теплыми заборами, и бросилось в глаза: он оказался маленького даже роста, короткий пиджак некрасив, брюки, очень узкие, нелепо поднятые над щиколотками, подчеркивали величину довольно стоптанных старомодных ботинок, а новый галстук с булавкой выглядел словно бы ненужным украшением бедняка. Неужели это мой отец? Ведь лицо его всегда выражало доброту, уверенную силу, мужественность, а не усталое равнодушие, оно раньше никогда не было таким морщинистым, немолодым, таким негероически-безрадостным.

И это четко и обнаженно обозначалось весенним солнцем — и все вдруг представилось в отце серым, обыденным, жалким, унижающим

и его и меня перед школьными моими приятелями, которые молча, нагло, едва сдерживая смех, смотрели на эти по-клоунски большие поношенные башмаки, особенно выделенные дочкообразными брюками. Они, мои школьные друзья, готовы были смеяться над ним, над его нелепой походкой, слегка кривоватыми ногами, а я, покраснев, чуть не плача от стыда и обиды, готов был с защитным криком, оправдывающим неприятно комичный вид отца, броситься

в жестокую драку, восстановить святое уважение кулаками.

Но что же произошло со мной? Почему я не бросился в драку со своими приятелями — боялся потерять их дружбу? или не рискнул сам показаться смешным в той защите?

Тогда я не думал, что настанет срок, когда в некий весенний чужой мне день я тоже окажусь чьим-то жалким, смешным, нелепым отцом и меня тоже постесняются защитить.



МАТЬ

Усталый, лег отдохнуть в сумерки, а проснулся в середине ночи от такой непереносимой тоски, что сразу не понял, почему чернели занавешенные окна, почему забыто горела настольная лампа, отсвечивая в стекле книжных полок, под которыми я лежал на диване, и почему звучала в моем сознании давняя, когда-то слышанная мелодия, исполненная горькой пронзительности: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль...»

Я сел на диване, потер лоб, подобрал упавшую на пол книгу, а когда стал вспоминать слова, показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой бесконечной любовью, с такой радостной и беспомощной силой, что я вскопчил, начал ходить по комнате, не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения. Будто теплый ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая весь зимний город, и вдруг я понял, что это она, моя старая мать, лежавшая сейчас там, в неприятной больнице, одна в своем одиночестве, слабая, беззащитная перед болью, в забытии думала обо мне с любовью безмерной, которая может быть на земле только у матерей. Но когда и где я слышал эту простенькую грустную мелодию и почему слова ее были связаны с матерью?

И она стала представляться мне молодой, красивой, русоволосой, среди утреннего горячего света в комнате с окном, распахнутым в облитую солнцем сочную зелень карагача, росшего над арыком, от которого в знойные дни веяло пресной свежестью; мать босиком стройно ходила по глиняному полу, тонкая, в белой кофточке, напевала тихонько прелестным молодым голосом: «Кого-то нет, кого-то жаль, к ко-

му-то сердце мчится вдаль», останавливалась возле окна, улыбалась, поднимала лицо к уже очень жаркому среднеазиатскому солнцу, сквозившему через ветви карагача. Я видел ее прозрачные от обильного света глаза, ее губы, которые будто влюбленно произносили молитву, говорили о своей молодой тайной грусти этому знойному утру, солнцу, прохладно плещущему арыку: «Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет...» А я, до слез восторга влюбленный в мать, не мог понять, кого не было с ней рядом, кого ей было жаль, к кому стремилось ее сердце: ведь тогда отец редко бывал в отъезде. Тоже молодой, сильный, он боготворил мать, был предан дому, отличался веселым ласковым нравом. Порой он носил ее, как ребенка, на руках, целуя ее светлые волосы, а она почему-то обреченно, скорбно прижималась щекой к его груди.

Однажды услышал я, что она плакала за ширмой, свернувшись калачиком на диване, и, испуганный, бросился к ней, закричал: «Мама, не надо!» Со страхом увидел ее слипшиеся, влажные ресницы, но мать попыталась улыбнуться мне сквозь слезы, потом, обняв, начала гладить мою голову легкими, нежными пальцами и говорила шепотом, что отчего-то взгрустнулось, а теперь все прошло, миновало...

Но почему иногда тосковала она? В какие счастливые дали, к кому тянуло ее? О ком вспоминала в молодости? Всю жизнь она верно прожила с отцом, и я не узнал ее тайну...

А теперь в беспамятстве, на больничной койке, она витала над краем пропасти в никуда, над обрывом в черноту, где ничего нет, и, видимо, в момент краткого просветления

вспомнила обо мне с той великой любовью, которая ознобом пронзила меня, разрывая непеносимой виной душу. И я ходил по кабинету, морщился, стонал от бессилия, кусал себе руку, чтобы одной болью заглушить другую, не зная, чем помочь ей, облегчить ее страдания, и

бормотал, как в безумии, незатейливые эти слова:

— Кого-то нет, кого-то жаль...

Наверное, не только у меня бывали минуты, когда не приходило спасение от самого себя.



BALISTES CAPRISCUS

В Западной Африке и Южной Америке обитает странная, казалось бы, рыба *Balistes Capriscus* — рыба с человеческим лицом, раз я видел ее в копенгагенском аквариуме. Она зловеще вращает глазами, дышит, как человек, большой насморком, чуть приоткрывая губастый рот, — не рыба, а отвратительный, вздувшийся человеческий профиль, обросший плавниками, некое жестокое кошмарное видение, некий страшный персонаж, сошедший с картин Босха и Брейгеля.

Видели ли когда-нибудь эти два художника подобную рыбу?

Нет, они не были ни в Африке, ни в Южной Америке, они жили в Нидерландах. Подобный образ получеловеческой головы-полурыбы создало их воображение — обостренная фантазия, — направленное против физического и нравственного уродства человека.

Действительность выше даже самой неограниченной, гениальной фантазии; в неизмеримой воображением жизни есть все, поэтому творчество человека никогда не достигнет исчерпывающей красоты или всей безобразности многоликой и многогранной реальности.



СТАНДАРТ

В сумерки эта площадь была вся легкой, прозрачной. Трамваи, дома, широкий пролет вниз — все окрашено мягким пепельным светом, рекламы уже зажглись, на тротуарах текла, шаркая, вечерняя толпа, около подъездов отелей «Амбассадор», «Золотой петух» выработанной фланирующей походкой прохаживались с сумочками через руку в меру подкрашенные девушки, переговаривались со степенными швейцарами, что время от времени открывали стеклянные двери перед приезжими.

На открытой террасе кафе «Европа» сидели молодые красивые женщины в шляпах, мужчины в летних костюмах, отсюда доносился иностранный говор. Два солдата у киоска ели с аппетитом горячие сосиски, макая их в горчицу на блюдечках, и, то и дело оглядываясь

на проходящих мимо девушек, жевали сильными челюстями.

Юные люди с гладкими прическами, распахнув белые плащи, засунув руки в карманы брюк, шли, разговаривали громко, дымили сигаретами, смеялись, тоже оглядываясь на проходивших женщин.

И над всем этим — мягкость, теплота наступающего весеннего вечера; везде сиреневая дымка сумерек с нежной зеленью деревьев и неба над куполом собора.

Я дошел до конца площади, долго стоял у газетного киоска, читал названия модных иллюстрированных журналов — смотрели через стекло очаровательно-холодные лики женщин на гладких глянцевиных обложках: блеск глаз и зубов, застывшая красота манекенщиц с тон-

кими прямыми ногами подростков, с заученным поворотом шеи, с кротким взглядом, выражающим невинность перед миром, который ежедневно глазееет на них.

Это множество ярких улыбающихся лиц, этот мировой стандарт красоты, одежды, выражения глаз, оголенных коленей, пленительно-заученных улыбок, костюмных поз не вызывал никаких чувств, а, наоборот, притуплял даже ощущение живой плоти.

Я вспомнил американский журнал «Плейбой» (журнал для мужчин), где каждый год появлялись фотографии «Мисс красоты», там все было рассчитано на «мальчиков», которые должны захотеть быть обладателями этой красоты: поднятые вырезами купальника груди, раскованные позы, тугие бедра, обнаженные и оттененные чистейшими простынями или обивкой софы, — среди избранных «мисс» были известные актрисы, молодые знаменитые спорт-

сменки, открывающие тайны своих прекрасных втянутых животов, своей мускулатуры, своей неженственной силы.

Разумеется, то Америка, но и в европейских городах с допусками плюс-минус уже давно определился стандарт женской красоты. В ней нет изюминки, нет угадывания и той скромности, которая и есть секрет женственности. Нет, это красота холодная, фотогеничная, спокойная, равнодушная, как белый цвет бумаги.

Я вспомнил о чистоплотной красоте эллинов, о прелестных лицах эпохи Ренессанса, о некрасивой и вместе загадочной Моне Лизе, о рубенсовских и ренуаровских женщинах, о «Неизвестной» Крамского и крестьянках Серебряковой.

Почему же стандартная скука секса или парфюмерной рекламы стала нормой женской сущности, всегда многозначной, застенчивой, непостижимой?



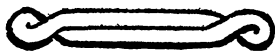
НЕПОСТИЖИМОЕ

Всякий раз в утренние часы, осенью, когда я выхожу в опустевший, покинутый птицами сад и один хожу меж яблонь по шуршащим тропинкам, по желтым островам листьев, когда вижу на мокрой траве сквозные лучи низкого солнца, вдыхаю уже северную свежесть осеннего холода, сырость земли от поредевших клумб, где в конце лета распустились георгины и флоксы, эти предвестники зябких поздних зорь, то меня охватывает сладкая тревога предупредительного звонка на вокзале моей жизни и мучает, не покидает сознание того, что где-то

есть обетованные края, прозрачная синева, тепловатые туманы морских побережий, незнакомые улицы далеких городов, пестрые витрины на пустынных ночных набережных, которые я должен обязательно увидеть.

Почему в сентябрьскую пору я чувствую беспокойство, желание ехать куда-то в поисках неизведанной благодати эдемских земель, чужих садов?

Может быть, все это потому, что осенние утра особенно тихи, влажны, свежи, покойно солнечны и скромная их красота непостижима?



ССОРА

Он наблюдал за капризной игрою ее лица, за тем, как она, закидывая голову, громко смеялась, окруженная какими-то незнакомыми ему молодыми людьми, видимо, острившими поочередно, и пожимал плечами: «Ну для чего

так некрасиво смеяться, так блестять глазами, как будто в самом деле очень смешно?»

Он смотрел на нее и чувствовал зеленую скуку, досаду и раздражение от этих чрезмер-

ных женских усилий казаться привлекательной, веселой, оживленной после недавнего разговора между ними и ее холодного, искривленного ненавистью лица, какого не видел ни разу за

время длительной их близости, и после брошенных ему в грудь театральных слов:

— О, не прикасайся ко мне, я тебя ненавижу!



МИГ

Она сказала, прижимаясь к нему:

— Господи, как быстро прошла молодость!.. Любили мы друг друга или не любили — как это забыть можно? Сколько прошло времени с того момента, когда мы познакомились, — один час или вся жизнь?

Был погашен свет, из-за темных окон доносился глуховатый, затихающий шум ночной улицы, однозвучно постукивали в мягкой тьме часы, заведенные, поставленные звонить (он это знал) на половину седьмого утра, — и все представлялось обычным, неизменным, как и эта полночь, и завтрашнее утро, которое обязательно должно наступить, с привычным вставанием, умыванием, гимнастикой, завтраком, работой...

И вдруг странное ощущение остановленного колеса времени, ежедневно и еженощно крутящегося как бы вне сознания, выхватило его и понесло в скользкую бездну бесконечности, где не было ни дня, ни ночи, ни темноты, ни света, где не за что было зацепиться памятью, и он почувствовал себя бестелесной тенью, отражением прозрачного предмета, без измерения и формы, без прошлого и настоящего, без биографий, страстей, желаний, страха, без отсчета лет собственного бытия.

Целая его жизнь спрессовалась в один миг и этим мгновением уничтожилась.

Он не мог охватить памятью прожитые годы, реализованные дела, сбывшиеся надежды, молодость, любовь, рождение детей, радость здоровья (они, эти прошлые годы, внезапно исчезли, канули куда-то) и не мог представить будущее — не подобное ли чувство испытывает песчинка, затерянная в безмерности вселенной и обреченная раствориться в его черном пространстве?

И все-таки это был миг не песчинки, а пожилого человека, момент предельной усталости, и оттого, что он уловил и понял эти голгофные секунды вот сейчас открывшихся ворот в старость, в пустыню одиночества, ему стало невыносимо жаль и себя и ее, женщину, которую всегда любил безоглядно, с которой прожил и разделил все в жизни — без нее он не мыслил своего существования на земле. И подумал о том, что если она, всегда сдержанная, сказала об ушедшем времени, то утрата коснулась не только его.

Он поцеловал ее холодными губами и шепотом пожелал обычное: «Спокойной ночи, милая».

Он лежал, закрыв глаза, дышал тихонько. Ему было страшно, ибо миг открывшихся ворот в бездну собственной старости показался мигмом смерти — бесприютным скитанием его сознания, потерявшего память о молодости.



ПРОДАЖА

— Оля плакала, — сказала ему жена вечером. — Она не хотела, чтобы ты это делал. И сейчас накрылась с головой одеялом и не спит.

И он вспомнил жестокое морозное утро, заледенелый забор комиссионного магазина в Юж-

ном порту, на окраине Москвы, вспомнил оконеченного возле ворот багроволицего сторожа в тулупе, затем — въезд во двор, крик этого сторожа, притоптывающего валенками на снегу: «На эстакаду давай!»

На эстакаде он выключил мотор, и машина робко, с настороженностью затихла, возвышаясь над стоявшими вокруг чужими машинами, уже завьюженными, вероятно, оставленными здесь давно своими бывшими хозяевами.

Когда приемщик ничего не выражающим взглядом бегло осмотрел мотор, кузов, багажник, а потом с равнодушной небрежностью сел за руль и задним ходом тронул ее с эстакады, она подчинилась ему и развернулась на ледяном поле вблизи других машин, вопросительно наблюдавших за ней круглыми стеклами фар, и затем как бы в растерянности, осторожно покатила к дверям конторки комиссионного магазина, где должна была произойти последняя процедура. Он все это видел, но был еще спокоен и сдержан.

— Оформим, — сказал приемщик, и, услышав его голос, он кивнул молча.

А полчаса спустя, после составления акта продажи, после оценки и всех утвердительных росписей, он вышел из жарко натопленной конторки, чтобы совершить последнее — передать ключ от зажигания перегонщику, молодому парню в полушубке, из овчинного воротника которого виднелось сизое, озябшее личико с мокрым носом и посинелыми губами.

Машина стояла так же около конторы, по обыкновению терпеливо ожидая его, готовая послушно зарокотать мотором, охотно покатить его через всю Москву домой, в теплый обжитой гараж, где вечерами светло под электрической лампочкой и где всегда по-домашнему уютно пахло бензином и маслом. Он посмотрел на переднее стекло, на капот, чуть припорошенные снегом, надутым с поля ледяным январским ветром, потом увидел подошедших к машине нескольких покупателей, которые начали торгашески суетиться, жадно оглядывать, ощупывать ее, — и тогда что-то болезненно сжалось, дрогнуло в его груди.

Не говоря ни слова, он отдал ключ от зажигания перегонщику, и машина тихонько за-

работала, опять неуверенно тронулась задним ходом, будто отступая, еще не понимая, что случилось, куда ее ведут, и, сделав полукруг по полю, двинулась в ряд других машин, теперь объединенная с ними единой судьбой.

«Вот и все, — с непонятным облегчением сказал он сам себе. — Ее продадут скоро...»

А она издали смотрела на него удивленно и печально поблескивающими фарами, словно не желая проститься, расставаться с ним, и он быстро вошел в контору, чтобы не видеть ее сейчас.

— ...Как мне жалко ее, — сказала жена. — Ты простился с ней? Попросил у нее прощенья?

— Да, — глухо ответил он, солгав и хорошо помня, что по-настоящему не простился с машиной, не посидел даже в ней напоследок, даже не погладил ее по знакомой и гладкой коже металла.

— Оля так любила ее, так мыла ее, помнишь? Называла «хорошенький «Москвичишка»...»

— Да, да, — снова повторил он.

Потом, не успокаиваясь сам, казня себя за то облегчение, какое испытал, отдавая ключ перегонщику, он представлял ее сейчас далеко от дома, на окраине Москвы, в холодной зимней ночи, на жгучем ветру, леденящем ее металлическое тело. Там она была безжалостно оставлена им на продажу, с холодным расчетом, ради другой, новой, более красивой машины, которую хотел купить. И он думал, как влюблен был в нее много лет, как она верна была ему; весело сверкая на солнце, катила по дорогам, красуясь, кокетничая со встречными машинами, как редко сердилась на него, когда был неосторожен, резок, груб в обращении с ней, и как по-родственному прощала все, почищенная, помытая, протертая им и десятилетней дочерью Олей.

Теперь она замерзала там, на ветру, на морозе — и не проходило ощущение совершенного предательства.



ИДЕАЛ

Ссоры в молодых, и не только молодых, семьях часто возникают потому, что она, как ему кажется, не отвечает тому идеалу женщины и жены, который он хотел бы видеть в ней

и который создал для себя, быть может, еще очень давно. Он раздражается на то, что она недостаточно чутка к нему, порой молчалива, замкнута, неаккуратно одета и причесана, не

то сказала при гостях, не так воспитывает ребенка.

И он в состоянии неудовлетворения, всплыв иногда по малозначительному поводу, не сдерживаясь, находит для нее самые злые, самые обидные слова, словно мстя себе за собственную ошибку и мстя ей за оскорбленный идеал свой.

Его резкость обижает и злит ее, и она отвечает ему с той же беспощадностью, с той же болью — и повторяющееся между ними отчуж-

дение нередко убивает самое ценное на этой земле — любовь.

Он и она не правы, считая себя обманутыми, постоянно раздражены друг против друга, но, обремененные усталостью, привычками, заботами, мало что делают для того, чтобы приблизить один другого к тому идеалу, который каждый лелеял в душе.

Ведь готовых идеалов на все случаи жизни нет.



СХИМНИК

Был жаркий июльский день, золотые купола Печерского монастыря купались в теплом синем небе. А над древними стенами, над густой зеленью монастырского сада плыл перезвон колоколов, веселый, торжественный, ликующий, как радость этого летнего дня, которую, видимо, ощущали и молодые монахи, что группой собрались на мощеном дворе близ колокольни. Кротко улыбаясь друг другу, они так ловко, играючи перебирали пальцами веревки, что казалось, с виртуозной легкостью управляли воздушным, уносящимся в поднебесье музыкальным инструментом, как бы созданным самим богом для прославления любви, греха, женской красоты.

Меж пахучих кустов малины мы пошли с женой по тропинке в глубину старого монастырского сада, испещренного солнечными бликами, пятнами теней. Навстречу тянуло ласковым воздухом, сухим настоем прогретой травы, снизу, от ручья, бормочущего в зарослях, волной пахнуло пресной земляной сыростью. Затем вокруг яблонь впереди стало просторно и солнечно — зазеленела, открылась залитая полуденным зноем поляна, зажелтели улы в траве под низкими, отяжеленными краснеющими яблочками ветвями. Здесь, напоенный горячим клевером, воздух гудел слитным гулом: пчелы облепливали хлопотливой кишашей массой щели улыев, пролетали над кустами черной смородины, обдающей нас сладостным духом ягодной плоти.

И тут, посреди этого света, тепла, запаха и радости существования, я увидел на краю поляны схимника в черной рясе, с накинутым на голову капюшоном, расшитым по траурному цвету какими-то зловеще-белыми, смертными узорами. Схимник стоял неподвижно, засунув руки в рукава, смотрел тусклыми старческими глазами на леток улья, где копошились, ползали, озабоченно сновали пчелы. И его лицо, истонченное до прозрачной синевы, с потусторонними бескровными губами, выражало смиренную тишину, печальное внимание. Он, схимник, уже второй раз постриженный в монахи накануне небытия, уже занятый только ежечасным приготовлением себя к завтрашней смерти, будто сейчас прощался с этой пчелиной и тщетной суетой жизни, и все-таки милой, неповторимой, которая останется на земле, так же как вот этот благолепный июльский день и множество других дней, весенних, летних, зимних, как вот этот обещающий радость и любовь колокольный звон в синем небе, ликование греховного ожидания, устроенное молодыми монахами, каким был когда-то и он.

Что было на душе схимника? Тоска прощания со всем земным? Раскаяние?

И в то же время я заметил, что схимник, наблюдая хлопотливую возню пчел, боковым зрением ловил наше внимание на себе — мое внимание и моей жены, — и его красные слезящиеся глаза теперь выражали усталую отрешенность и еще более смиренную покорность

судьбе. И мне показалось, что он, ссутуливаясь, засовывая глубже руки в рукава, видел и мое грустно-удивленное лицо, и молодую привлекательность моей жены, ее темные мягкие глаза, белую шею, светлые волосы до плеч. Он, наверно, видел и знал, что мы думаем о его скором переходе в неземное царство, о его последней подготовленности на смертный одр, и, зная, чувствуя особое, болезненное любопытство живых к обреченному, почему-то играл прощальное внимание к суеде пчел на летке улья, с тихой усмешкой печального святого

наблюдая бессмысленное движение колеса жизни.

И то, что эта игра, ради горького продления любопытства к себе незнакомых людей, была обыкновенным человеческим тщеславием, не умерщвленным долгими годами монашества, предсмертным положением схимника, ужаснуло меня. Ведь ему было не меньше восьмидесяти.

Каким же обвораживающим ядом пропитано тщеславие, если оно не покидает людей и на пороге смерти?



ВДОВА

В банкетном зале произносили тосты, лилось вино, сияли потные, возбужденные лица, говор за столами становился все громче, и нетрезвый шум этот уже заглушал слова пышных приветствий, и теперь не слышно было, что говорили, о ком говорили, ибо наступил тот момент, когда виновник торжества перестал быть единым центром внимания, как это бывает на любом юбилейном банкете.

Надо было уходить, и я незаметно вышел из накуренного зала в пустынный коридор. И здесь, в прохладной после духоты тишине, неожиданно увидел возле широкой мраморной лестницы сухоощавую женскую фигуру всю в траурно-черном, даже черные перчатки натянуты были до тонких локтей. Особенно странно выделялась черная широкополая шляпа, какие носили в двадцатых годах, почти закрывшая ее сухонькое бледное лицо со стеклянным взглядом... Не увидев меня, равномерно передвигая по мраморному перилу слабой кистью в креповой перчатке, она спускалась по ступеням, отражаясь в зеркалах подобно грозному знаку среди смутных отзвуков доносившегося сверху веселья и этого мрамора, лестничных ковров, богатых хрустальных люстр над головой.

Я поклонился ей, а она по-прежнему не заметила меня, ее прозрачные застывшие глаза ничего не пропустили внутрь. Наверное, она была пьяна, потому что внизу покачнулась внезапно и на миг приостановилась у перил, клоня голову, отчего поля шляпы совсем закрыли

лицо, и постояла несколько минут, локтем прижав к боку маленькую, обшитую бисером сумочку. Это была вдова крупного ученого, бывшего основателя и директора нашего научно-исследовательского института, место которого три года назад занял другой ученый, менее известный, но более удачливый, более решительный, чей пятидесятилетний юбилей институт торжественно отмечал сегодня.

Я не видел ее там, наверно, где шумели речи, пили, смеялись, лобызались с юбиляром, воспитанно-вежливым, седовласым, аристократически-утонченным во всем облике своем, где ни разу, хотя бы вскользь, не вспомнили о бывшем директоре института, собственным воловьим трудом и упорством поднявшим его до всевропейского значения. И я представил, какую боль пережила она в банкетном зале, приглашенная кем-то, никому не нужная, забытая, как и ее муж, — и то, что, вся траурно-черная, спотыкаясь на лестнице, она уходила с банкета в прежнее непоправимое одиночество, чувствовать было невыносимо.

Потом я вообразил, как она войдет в пустую квартиру, беспомощная, слабая, плачущая от тоски, пройдет в его кабинет, в это царство тишины, воспоминаний, бессилия, в котором властвует «навечное отсутствие» его голоса, его глаз, живого тепла, и, оглядев сиротливые книжные полки, упадет лицом вниз на диван, шепча немолдыми губами о жестокости жизни.



МАЛЯРИЯ

Меня начинало трясти к полдню. Я ощущал сквозь рубаху острый жар солнца на спине, и тогда тень под голубятней, дышавшая в этот час мягкой прохладой, казалась очень сырой — знобило при одной мысли о холоде земли, по которой ходили голуби, лениво подергивая шейками.

Тогда мне нужно было согреться, и, уже весь в морозном ознобе, я сидел на деревянную скамейку на горячем солнцепеке, чувствовал вонзающийся в мою голову, шею, плечи колючий июльский зной. Зной не согревал тело, а давил, замутнял голову, соединяясь с другим, внутренним жаром. Потом целый мир смещался, изменял обычный цвет, запах, осязаемость — и все представлялось будто через стекло: замоскворецкий дворик, могучие липы около забора, низкие красные крыши купеческих домиков, залитые каким-то пустынным солнечным светом.

Приступами подташнивало, и я на шатких ногах брел домой, там мама встречала на пороге испуганным возгласом: «Горе ты мое!»

В эту адскую жару особенно замерзали руки, синели ногти, я пытался согреть кисти между колен, ссутулясь, сжимаясь в комок на кровати, стучал зубами, укрытый с головой двумя одеялами, но меня бил озноб, я дрожал, всхлипывал, стонал, иссушаемый до кипения крови, мнилось, чудовищно пылающей печью, в которой был одновременно и ледяной холод.

Время от времени меня перекидывало на постели отвратительное удушье, тут же вытаскивало, выворачивало в подставленный мамой тазик, и с набрякнутой головой я кашлял, давил, выплевывал желчь, пугающую своей зловещей окраской. После было неприятно горько, горячо во рту, сознание мутилось, кто-то тенью возникал в белой пустыне перед кроватью, говорил о температуре сорок, все реальное, летнее за окном уходило, уплывало за тридевять земель, и мимо прекрасного веснушчатого, как сорочье яйцо, лика девочки проходили в синем заливе яхты под снежными парусами, а я, сильный, небрежный, вел первый швертбот, сидя на корме, держа одной рукой румпель, другой грота-шкот; возле же, на банках яхты, продутой солнечным ветром, сидели в садках голуби, и я должен был «подкинуть» их под чужую стаю на глазах знакомой девочки, без которой не мог жить...

Потом возникала погоня во вселенной — в сверкающей звездной пыли среди фиолетового мрака нечто безобразное, оскаленное, имеющее злобную власть надо мной и той девочкой; эта власть мерзостной силы преследовала меня, окружала, швыряла протуберанцами зазубрен-

ных копий, они пронеслись в миллиметре от головы, обжигая волосы, кожу лба, они ослепляли, и был я беззащитен, жалок, окровавлен, потому что два огненных копья торчали в моих ногах, мотались, тянули пудовыми гирями. И, крича, я падал с огромной высоты в неизвестное узкое ущелье, на дне которого бурлила меж камней горная река; вокруг по зеленым склонам возвышались каменные стены древних замков с зубчатыми башнями, стрельчатыми бойницами, с подвесными мостами через рвы, а оттуда, из дворики, густо и грозно блистали рыцарские доспехи, оружие, щиты, забрала — там стояли враждебные войска и злорадно, жестоко ждали (белели их поднятые следящие лица), когда я упаду и разобьюсь вдребезги о гранитные плиты соборной площади или буду низан на длинные иголки пик, выставленных железным лесом в небо, откуда падал я в свою смерть.

Я знал, что спасение мое — зацепиться за золотой крест, за купол собора, во что бы то ни стало задержать падение тела, выдернуть копья из пробитых ног, освободиться от этой боли и тяжести, жгущей огнем... («Кто же я был? Когда? Святой Себастьян?»)

Я схватился руками за металлическую перекладину креста, но зацепиться не смог — и, падая в бессилии, с треском выворачивая крест из кровли собора, покатился с высоты вниз, скользя пятками по скату крутого купола, в крутящуюся пропасть начавшегося пожара, из лохматого неистовства которого торчали на высоких колях отрубленные пустоглазые человеческие головы, кричащие ртами.

Но в этом ужасе огня, диком буйстве мучений и крови кто-то любил меня и я любил кого-то с тоскливой отрешенностью, отчаянием безнадежности. Она же то сидела, независимая, на перилах крыльца, болтая ногами в белых сандалиях, то стояла у забора под кустом акации и разгрызала стручок, глядя исподлобья неподступными влюбленными глазами, а я везде искал ее, я хотел, чтобы она пожалела меня, познала мои страдания в борьбе с коварными врагами и, скорбная, пришла бы туда, где должна была увидеть меня в последний раз, проститься, поцеловать, заплакать от любви и жалости...

Я хотел предсмертно лежать спиной на камнях, головой на ее коленях, чувствовать ее залитые слезами губы, видеть ее глаза и лицо в слезах. О, какое это несказанное наслаждение было умирать на ее коленях и ощущать прикосновение легких пальцев, сокровенного тепла губ, ласковое дуновение шелчущего голоса:

«Я люблю тебя...» И в знойном жару я тоже плакал от сладкого отчаяния, от преданности этой девочки нашей любви (которой никогда не было) и в то же время краем воспаленного сознания понимал, что все происходит в бреду, что у меня опять приступ...

Тогда в сером горячем тумане я вскидывался на кровати — чудилось: она, вернувшись с портфельчиком из школы, расширив глаза, смотрела, заглядывала со двора в окно, видела мои страдания, слышала бредовые слова о ней. На краткую минуту я различал окно сбоку кровати, пустое, с прозрачной тюлевой занавеской. Нет, никто не заглядывал в комнату («Где она? Где?»), а издали как-то неестественно, разделенно доносились смутные детские голоса, и солнечный свет неподвижно сиял на деревянной стене тамбура, белыми стрелами пронизывал наискось листву дворовых лип — и мир бреда до разрушительной тоски не совмещался с миром реальным, с его жарким днем, знойной неподвижностью, деревянной стеной тамбура и зеленой листвой. Этот реальный мир лежал в безжизненной тусклой пустоте, без движения, без мук, без любви, и непонятная сила тянула меня снова окунуться в бездну сатанинских малярийных картин, в иной, несуществующий век, в иные, резкие краски, иное бытие, которое казалось более ярким, действительным, счастливым, чем настоящее за этим пустым окном, где не было ни страданий, ни ее благословенных колен, ни ее жалости.

И вновь с кипящей кровью в жилах погружался я в раскаленную пустыню, в красные пески Сахары, неохватимого, безмерного пространства, лишенного осязаемого времени, человеческого вчера и завтра. И бесконечные пески, уходящие буграми в никуда, гнали меня за неизвестные разуму пределы, жгли пятки, осыпались под ногами, я утопал в их зыбучей трясине, задыхаясь, не мог скрыться от своих преследователей. Затем сзади несколько человек хватили за плечи, выкручивали мне руки, грубо втискивали в железную клетку для зверей и везли по желтому пеклу пустыни целым караваном верблюдов, на головах которых в такт плавным шагам мотались пушистые кисточки, как у цирковых лошадей.

Потом люди в черной парандже вводили меня в восточный дворец, толкали кинжалами под лопатки, торопили подойти к золотому трону, покрытому яркоцветными коврами, на них возлежал некий всемогущий повелитель в шелковом халате, в белой чалме. Лицо у него имело вид таракана, усы шевелились, а маслянистые жестокие глаза смотрели вбок, где происходило что-то нечеловеческое, злобное, противоестественное. Там садистски казнили на ковре сла-

бенькое худое тельце, очень знакомое мне, и, узнав ее, в гневе я бросался, безоружный, на помощь, подобно Дон-Кихоту. В ту же секунду пол разверзался под ногами, со скрежетом маховиков его раздвигал тайный механизм, образуя внизу освещенную электричеством пропасть, я падал, летел туда с гибельно охолонувшим сердцем, видя на дне страшную машину смерти, торчащую острейшими, направленными вверх пиками. И уже без всякой надежды на спасение, заранее чувствуя, как подрагивающие острия пик пронзят меня, я как бы меркнущим сознанием пытался представить тот момент, когда она после моей гибели придет в голубятню на заднем дворе и, тихонько плача обо мне, грустно возьмет в руки маленькую умницу, черно-чистую голубку с хохолком, и будет поить ее изо рта, как это делал я раньше, показывая ей по воскресеньям своих голубей.

Почему в малярийном бреду мое мальчишеское сознание проходило через муки и любовь? И почему рисовало оно средневековые картины насилия, борьбы, страдания? Все это я не мог тогда вычитать из книг, ибо хорошо помню, что узкий круг моего чтения (когда читать замоскворецкому голубятнику?) охватывал в ту пору только один литературный жанр, наподобие «Красных дьяволят» или «Макара-следопыта».

Может быть, малярийный жар, высокая температура, болезненно возбуждающая воображение, раскрепощали во мне какие-то коды генов, что несли в себе отсветы давней памяти, осколки прошлых событий и вместе с тем напоминали о будущем — о последней, в тысячу крат кровавой войне, которую я прошел спустя несколько лет.

Война затмила все, но девочка моих мучительных видений (она училась в шестом классе вместе со мной) явилась вдруг однажды из забытого детского кошмара, я отчетливо не увидел ее, а ощутил возле себя осенью сорок третьего года на неизвестной высоте (меж Житомиром и Белой Церковью) после танковой атаки в окружении, не оставившей от нашей батареи ни одного орудия.

И снова мне представлялось, что я лежал на заднем дворе, на свалке кирпичей, а она держала мою голову на своих коленях.

Я очнулся, услышав собственный стон, и, с надеждой увидеть ее, открыл глаза... но рядом никого не было, никто не плакал вблизи, исчезла теплота ее колен, ее слез. Свистел ветер в травах, черное осеннее небо несло над высотой, кипело рваными тучами, будто заделало влажно огрузшими краями исковерканный щит орудия, ветер холодком шевелил на висках мои волосы.

«Неужели она и задний двор приснились мне?» — подумал я, уже четче сознавая, что один лежу на высоте возле разбитого орудия, на кромке снарядной ниши, и что в последние секунды танковой атаки, когда горячим смерчем ударило в грудь и упала тьма, повторился незавершенный детский сон или давний малярийный бред. И поразило до горькой судороги в горле: зачем, зачем я вспомнил о ней? Или в прошлом был не болезненный сон, а детская игра в смерть? И, с ужасом поняв, что по-прежнему люблю ее, конопатую девочку с заднего

двора (а она, равнодушная ко мне, никогда не узнает, что через много лет, в окружении, после боя, на развороченной снарядами высоте, я хотел умереть на ее коленях), почувствовал такое одиночество вдали от дома, такой земляной холод и движение осеннего неба, такую жесткую землю под головой, что помню, как стал терять сознание, уже скатываясь в пустынную мокрую темноту с безнадежной мыслью увидеть ее плачущее склоненное лицо, как в той детской игре на свалке кирпичей...



В НЕКИЙ ЧАС

В бессонные часы ночи он не соглашался, не мог поверить этому, и сознание в отчаянии сопротивлялось, боролось, отталкивало настаивающую неотвратимость скорого ухода из жизни, отвергало то, что случится с ним, именно с ним, и так скоро... Не может быть! За что? В чем он провинился перед жизнью? Неужели пройдет четыре дня, и его не будет? Его совсем не будет? И как, где он почувствует, что его не будет? Неужели через несколько дней ему не суждено проснуться, увидеть раннее солнце над крышами, пойти утром в ванную, тщательно, долго бриться, привычно рассматривая свое лицо, или с наслаждением выпить рюмку водки перед обедом, или дышать мягким воздухом майского вечера на бульваре, уже поблескивающего сквозь листву зажженными фонарями? Да, он не сможет даже думать, что думает... Все одновременно потухнет, единым мигом оборвется, канет в пустоту, в *ничто*... Неужели, неужели исчезнут небо, воздух, солнце, шум улицы, гудки автомобилей, людские голоса, утренняя газета после завтрака, глаза жены, длинноногая и длиннорукая дочь, звонки телефонов? Что ж, постепенно прекратятся звонки — ведь с ним умрет его энергия, угаснет действие его живого имени, и он не нужен будет никому. Судьба пощадила его на войне молодым. Да, да, он спокойно дожил до той поры, когда живые вытесняют мертвых почти равнодушной скорбью, странным празднеством похорон, уважительной холодностью живых к мертвым, которых в мирные времена скорее перестают и любить и ненавидеть. Он сам не раз испытывал

слабый прощальный долг на собраниях — скорбно потупить глаза в минуту молчания, встать, чувствуя неловкость и языческую старомодность ритуала.

И в этом печальном безмолвии кто-нибудь из живых счастливых будет фальшиво грустно смотреть на помятые, засиженные брюки впереди стоящего соседа, думая о неряшливости его, а кто-нибудь рядом будет украдкой скапывать потупленные глаза на стройные ноги женщины, заметной слишком седым лучком волос на затылке, который как бы не соответствовал этим прямым ногам, и думать о ее преданной связи с покойным, немисливо представляя их вместе в мгновения нежности. И вероятно, появятся мысли о тайнах его личной жизни, о его душевных слабостях, что знали только очень близкие к семье покойного люди, встречавшиеся ему на короткой дороге бытия. Потом в некий час чей-то старчески скрипучий голос скажет формулу отвратительной скамеечной мудрости: «Смерть свою причину найдет. И болезнь свою причину найдет. Все на одной точке стоим». О, как он ненавидел при жизни эти пошлые мудрости бульварных философов!..

И, забираясь в предсмертные высоты тоски, где не было никакой помощи, никакого спасения, он заплакал, жалея себя и первую свою женщину, навсегда оставшуюся в довоенной юности, черты лица которой он совсем забыл, но которую то ли в действительности, то ли в юном воображении любил с той непорочной чистотой и самоотречением, каких не испытывал позднее никогда.



НО ВСЕ-ТАКИ...

Наверное, где-то там в бесконечности есть свой список, и ежедневно некая рука с усталой небрежностью ставит крестик или галочку напротив какого-либо имени — и тот, кто носил это имя на грешной земле, покидает ее в срок намеченный.

В выборе этом почасту нет благоразумного, логического порядка и нет верховной справедливости (так нам кажется), и мы говорим о неисповедимых путях, о високосном роковом годе, прошедшем с косою по знакомым и близким, нашим, по совсем молодым людям, а слова «инфаркт» и «рак» стали уже эмоционально равнозначны понятиям «война» и «смерть».

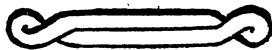
Раз мой приятель, вернувшись из больницы

и идя со мной вечером из ресторана по теплой весенней улице, сказал:

— Если зажечь над окнами всех смертельно больных всего мира красные лампочки, нас потрясла бы эта страшная иллюминация на больной земле!..

Но все-таки... все-таки есть ли там, в запретных списках, норма справедливости, не перепутываются ли эти списки кем-то с мстительной, пугающей людей злорадностью, не опахивает ли их черное, казнящее крыло, лукавая, обдавая вне очереди обреченные имена запахом жженой горечи?

Или, может быть, истина в сердцевине закона кажущегося равновесия? Или это выше понимания разума человеческого?



ПЫЛЬ

Уже месяц была жара, воздух над училищным двором раскалился так, что ощущался всем телом сквозь потную гимнастерку, — сухая, нестерпимо банная духота скапливалась над пропеченным гравийным плацем. Иногда за окнами, замутняя сверкающие в солнечном зное тополя, вставала серая длинная стена — вдоль улицы ползла поднятая военными машинами пыль и долго переваливалась через заборы, не оседала. Курсанты, загорелые до черноты, пропыленные (все время хрустело на зубах), ничего не ели, хотелось только пить — готовились к экзаменам в классе артиллерии и поминутно выбегали в умывальную, неутоленно глотали теплую, пахнущую жестью воду из кранов. В классе же сгущалась горячая неподвижность дня; помком- взвода лениво стучал мелом по доске, рисовал схемы огня, смятым носовым платком вытирая пот с красной шеи, темные пятна выступили под

мышками, расплываясь полукружьями на выгоревшей гимнастерке, а мальчишеские лица курсантов блестели потом, казались отупело-сонными.

И это давнее ощущение знойного лета я испытал сейчас снова, когда по непонятной связи вспомнил вдруг незнакомую красивую женщину, которая стояла тогда возле проходной училища, разговаривала с веселым светловолосым офицером в белом кителе и, морщась, нежно улыбалась ему и загораживала его раскрытым летним зонтиком от накаленной пыли.

Этот молодой офицер командовал нашей батареей.

Через неделю мы были направлены под Сталинград, и я уже больше не видел его в живых.

Кто она была ему? Жена? Невеста? Сестра? И помнила ли она тот миг, когда хотела зонтиком защитить и его и себя от огненной пыли?..



БЕССИЛИЕ

Он шел по Невскому проспекту в одиннадцатом часу утра, на теневой стороне было еще не жарко, солнечные стрелы скользили сквозь листву по зеркалам витрин, лиловые отливы прохлады таились в пустынных подъездах, пахло влажным асфальтом — и везде было поутреннему легко, свободно...

Он любил воскресный Невский в эту летнюю пору — перед полднейной духотой проспект был немногочислен, тих, солнечно пестр — он смотрел на витрины, на праздные лица прохожих и невольно улыбался, щурился от избытка хорошего чувства, от душевной чистоты, что испытывал всегда погожим утром.

Потом он обратил внимание: навстречу ему неторопливой походкой шел небольшого роста молодой человек в клетчатом пиджаке, покатые плечи чуть раскачивались, твердый, жесткий взгляд был устремлен вперед. Молодой человек, казалось, никого не видел и видел всех сразу, гуляющих по Невскому, и одной лишь краткой усмешкой в глазах выделял из прохожих красивых женщин.

Они двигались навстречу, эти два молодых человека, глядя перед собой, а когда поравнялись, невысокий, в клетчатом пиджаке, не поворачивая головы, не меняя выражения глаз, еле заметным толчком плеча ударил в плечо другого, и тот, едва не падая от неожиданного удара, ощутил чужие мускулы, столь натренированные, неумолимые в своей самонадеянности, что, пораженный грубостью, вспыхнув мгновенным гневом, выговорил, готовый к мщению:

— Извинения надо просить, черт подери!

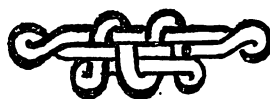
А парень в клетчатом пиджаке спокойно уходил, по-прежнему слегка покачивая плечами,

будто ничего не произошло несколько секунд назад. И стало ясно: толчок был не случаен, а страшная мощь в его мускулах, весь облик невозмутимо гуляющего по проспекту человека делали его неприступным, невинным, и можно было представить, как, уверенный в безнаказанности, он равнодушно поднял бы брови при виде возмущения оскорбленного его действием другого человека, как сказал бы бесцветным голосом: «Не понимаю, что вам от меня нужно?» — и тут же нанес бы этим вторичный удар исподтишка, играя роль жертвы, вынужденной защищаться.

Тот человек, которого задела плечом, был не робкого десятка, тоже обладал физической силой, но что-то похожее на внезапный страх перед чужой волей остановило его. Он, морщась, потирал ушибленное место, оглядывался на удаляющуюся квадратную спину, обтянутую спортивным пиджаком, и ненавидел и эту спину, и себя, и собственное унижительное бессилие, которому все-таки требовалось найти оправдание.

«За что он меня? Позавидовал модным белым брюкам или моей прическе? Доказал, что сильнее меня? Почему я оробел перед этой глупой отвратительной силой?»

В состоянии неудовлетворенного возмездия он не подумал, однако, что оба они, победивший и побежденный в коротком уличном бою первобытных самолюбий, предстали вдруг жалкими, мелкими, ничтожными особями мужского рода в этом солнечном мире июльского утра, с его влажноватым воздухом, витринами, летним взглядом встречных женщин...



КРАСОТА

Не есть ли красота отражение человеком природы, подобно познанию?

И я представил, что земля наша, этот сказочный цветущий сад вселенной со всеми его закатами, восходами, свежими утрами и звездными ночами, студеным холодом и жарким солнцем, со всем его светом, прохладной тенью, июльской радугой, летними и осенними туманами, дождями, белым снегом, — представил,

что наша земля непоправимо осиротела. Что ж, вообразите: на ней более нет человека — и глухая пустота шуршит в каменных коридорах гор, в траве диких полей, и безмолвие не нарушается ни звуком голоса, ни смехом, ни криком отчаяния.

В этом полном безлюдье, в ледяной тишине прекрасная земля наша сразу же потеряла бы свой высочайший смысл быть кораблем, юдолью

человека в мировом пространстве и вмиг утратилась, исчезла бы ее красота. Ибо нет человека — и красота не может отразиться в нем, в его сознании, и быть оцененной им. Для кого она? Для чего она?

Красота не может познать самое себя, как это может сделать изощренная мысль, утонченный разум. Красота в красоте и для красоты бессмысленна, нелепа, мертва, так же как, в сущности, и разум для разума, — в этом поедающем самоуглублении нет свободной игры, притяжения и отталкивания, живого дыхания, поэтому оно обречено на гибель.

Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый или восхищенный созерцатель, ведь ощущение красоты — это ощущение жизни, любви, надежды, мнимая вера в бессмертие,

так как прекрасное вызывает у нас желание жить.

Красота связана с жизнью, жизнь — с любовью, любовь — с человеком. Как только прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота в природе.

Книга, написанная последним художником на умершей земле, будь она исполнена гениальнейшей гармонии прекрасного, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому что цель книги — не крик в пустоту, а отражение в душе другого человека, передача мыслей, переселение чувств. Все музеи мира, собравшие всю красоту, все шедевры живописи, выглядели бы страшными раскрашенными сараями без присутствия человека в них.

Красота искусства без человека становится извращенно-безобразнейшей, то есть более невыносимой, чем безобразие естественное.



ЗЕРКАЛО

Она не видела меня, спящего за ширмой, и я проснулся от легких шагов в комнате, от ее протяжного, ласкового голоса:

— Милый!..

Она, нагая, стояла перед большим зеркалом, освещенная утренним солнцем, странно вглядываясь в свои глаза, в губы, улыбалась, хмурилась, разглядывала свои коротко подстриженные светлые волосы, трогала кончиками пальцев тонкую лебединую шею, маленькую грудь, как бы с замиранием следя за этими, чудилось, чужими прикосновениями, потом, опять улыбаясь, сказала сквозь стон «милый» и закинула руки, вытянувшись гибко, ладонями охватила затылок, я увидел и ее поднятую грудь, и темные островки подмышек...

С каким-то непонятным мне выражением запредельной любви и боли она закрыла глаза, тихонько приблизилась к зеркалу и раздвинула губы навстречу другим, раздвинутым, готовым к поцелую губам. Гладкая поверхность зеркала затуманилась от ее дыхания, а она все приближала приоткрытый рот для поцелуя с собою, через смеженные ресницы наблюдая эту близость в зеркале. Потом я услышал ее шепот:

— Неужели так? Неужели это так?.. Как страшно...

Она спрашивала себя, нет, она спрашивала кого-то другого, преображенного в своем зеркаль-

ном отражении, и вся доверялась, вся отдавалась его объятиям, убежденная, что никто не видит ее, обнаженную, бесстыдную богиню, прекрасную юной чистотой, растерянностью и перед отражением женского совершенства, и перед чем-то новым, неизбежным, что было связано с этим двойником в зеркале.

И тогда мальчишеская моя непорочность была потрясена впервые отверзшейся тайной женской незащищенности, этой любовной игры, еще не испытанной, но ожидаемой ею. В невинной близости она хотела увидеть, представить себя, и я, стораю со стыда, почему-то испытывая к ее прелестному двойнику острую неприязнь, накрылся с головой одеялом, сжался в жаркой духоте, убитый страшной театральнойостью и пугающей силой наготы.

Я очнулся от изумленного вскрикивающего шепота:

— Ты не спишь? Ты разве не спишь?

И с моей головы резко сдернули одеяло. И, ослепленный близкой белизной ее груди, искаженным гневом лицом, ее огромными блестящими глазами, я понял, что она услышала меня, и, онемев, молчал, ибо готов был умереть тут же в позоре.

— Ты, значит, не спал, негодный мальчишка? Ты видел? — спросила она, наклоняясь надо мной, заглядывая темной жутью глаз мне

в зрачки, а я чувствовал, что еще минута — и потеряю сознание от ее голоса, недавних поцелуев с зеркалом, этих объятий бесстыдства, нежного запаха молодого сена, исходившего от ее золотистых волос, низко свесившихся над моим лицом. — Ты видел меня в зеркале, противный? — повторила она гневным шепотом и подозрительно прищурилась, задрожала ресницами. — Так вот слушай, негодяй, — тебе все приснилось, все приснилось, все приснилось! Все, все, приснилось!..

Она больно дернула меня за ухо и, прикусив губы, чтобы не разрыдаться, выбежала в другую комнату, а я, глотая застрявший комок обиды в горле, запомнил тогда, как опасно быть случайным свидетелем чужой тайны, не доверенной никому, кроме одного лишь зеркала в тихой комнате.

А это огромное старинное трюмо, стоявшее между двух окон, как бы освещенное прохладным воздухом сквозь зелень дворовых лип, имевшее поэтому особую серебристую глубину, чистоту отображения, всегда притягивало меня и одновременно отталкивало ожиданием страха. Оно несколько раз соприкасалось моей душе в детстве с чужой тайной, заставляя какой-то мистической волей так властно подчиняться подсознательному любопытству, что я удивляюсь до сих пор: все, кто приезжал к отцу, в нашу маленькую квартирку на Якиманке, друзья и знакомые, сразу обращали на трюмо внимание, могли простаивать перед ним минутами. Но после того как я невзначай увидел свою дальнюю родственницу, жившую тогда у нас, перед зеркалом, было уже неприятно видеть даже мать, тщательно причесывающуюся по утрам возле трюмо, словно родное до каждой черточки лицо могло измениться в зеркале и открыть мне непривычное, нематеринское, унижающее ее.

Однако болезненную, отталкивающую неприязнь стал испытывать я к старинному трюмо, когда однажды приехал к нам из Свердловска давний друг отца, с которым в молодости они устанавливали советскую власть на Урале. Друг отца работал на строительстве завода, приехал неожиданно, поздним вечером, без предупреждающего письма, без телеграммы. Был этот человек в кожаной кепке, в сапогах и плаще, пахнувших переполненным вагоном, далекими захолустными вокзалами, и внес он в квартиру вместе с едким запахом еще холодный сквознячок тревоги, заметной по нахмуренным бровям отца, по бледному лицу матери.

Закрыв дверь в смежную комнату, они говорили всю ночь, пили водку, кричали не в голос, а шепотом; друг отца, как мне казалось, хрипло, неумело, как-то глухо и страшно плакал, вроде бы умоляя о помощи, повторяя

имя отца: «Митя, Митя, пойми!..» — и хорошо помню спокойно-казнящий возглас отца в краткой каменной тишине: «Нет, Степан, нет тебе оправдания...»

Уже на рассвете мать вошла в мою комнату усталая, медлительная и принялась стелить гостю на диване, то и дело растерянно оглядываясь на дверь, за которой не смолкали приглушенные голоса.

Я лежал тихонько, боясь пошевелиться, не в силах был заснуть, пребывая в липкой тоскливой полудреме, все сжималось во мне смутной болью. Я чувствовал, что в соседней комнате происходит нечто тревожное, опасное, связанное с нашей семьей, с отцом и матерью, и это гибельно-опасное, похожее на запоздалое предупреждение о смертельной беде, привез сегодня гость, старый отцовский товарищ, который время от времени глухо и хрипло плакал за дверью.

Сон скоро опрокинул меня, а когда я проснулся, было совсем светло в комнате и кто-то ходил за ширмой, стонал, ужасающе скрипел зубами, прерывисто мычал, как под мучительной пыткой. Это был друг отца; раздевшись до нижнего белья, босиком, он неуклюже, по-бычьему, из угла в угол метался по комнате, натываясь на стулья, тер двумя руками крупное грубое хмельное лицо, чудилось — хотел закричать, зарыдать, но только сильные звериные звуки вырывались из его горла. Затем он взахлеб начал бормотать невнятные отрывистые фразы, словно бы жертвенные суеверные заклинания, и мне стало страшно видеть это обезумевшее отчаяние.

— Гос-поди!.. — вдруг выговорил он так судорожно и отчетливо, что я вздрогнул от его вскрика мольбы. — Господи! — повторил он, останавливаясь перед трюмо, огромнотелый, в исподней рубашке и кальсонах, и начал вглядываться в свое грубое, сморщенное жалким выражением заискивания лицо, обмоченное слезами. — Я не виноват... Я не хотел... Митя, не хотел!..

Он стоял подле зеркала, охватив щеки, покачиваясь, подобно деревенской женщине в состоянии горя, и моргал, плакал с жалостью, с отвращением, будто бы самому себе изображая безысходную игру в горе, и было странно видеть противоестественное смешение искреннего отчаяния и попытку изобразить, увидеть в зеркале свое отчаяние. Что это было? Жалость к себе? Упивание сумасшествием раскаяния? Исход душевного грехопадения? Кто поймет до конца человека? Он при этом поворачивал лицо то вправо, то влево, он кривился, оскаливаясь, со стоном, со всхлипами выдавливал из глаз слезы, текущие по щекам, он

задышался, горько, ненавистно что-то шепча зеркалу.

Потом я увидел, как он рухнул на колени и, круглыми безумными глазами, отрекаясь от самого себя, мотая изуродованным в сладострастном покаянии лицом, глядя в зеркало на свой по-клоунски отраженный кающийся второй облик, выговорил умоляюще и сипло:

— Гос-споди, прости меня!.. Митя, прости меня, прости меня... или убей меня!.. Я подлец, подлец, подлец!..

И, беззвучно зарыдав, дополз на коленях до дивана, упал на него грудью, долго бормотал в подушку страстные неразборчивые слова, после разом затих, засопел, бугор его широкой спины подымался и опускался под свистящий тяжкий сап.

Я не видел, как утром он уехал, поэтому не знаю, простился ли с ним отец или сам гость уехал, ни с кем не попрощавшись, избегая последних минут перед отъездом, последних слов, недоговоренных ночью.

Детским чутьем я догадывался, что неожиданный тот гость предал старую дружбу отца, привез с собой таинственный колючий страх, сразу же заметно изменивший жизнь в нашей семье. Отец стал молчалив, замкнут, за ужином прислушивался к стуку дверей в парадном, и не раз ночью просыпался я от тихого разговора в другой комнате, видел в раскрытую дверь белую фигуру отца и белую фигуру матери у окна, облитых лунным светом, они всматривались из-за отодвинутой занавески в синий летний сумрак двора. А там, мне казалось, звучали шаги по пустому асфальту, слегка хлопала дверца автомобиля, затем в ночном без-

молвии одиноко начинал работать мотор, постепенно отдаляясь, затихая на улице. И тут отец торопливо чиркал спичкой, закуривал (зарезво вспыхивало и гасло в другой комнате), а мать, с облегченным вздохом обняв его, целовала в подбородок, и молочный лунный свет на полу, и шорох в другой комнате, и мягкий успокаивающий шепот матери запомнились мне необыкновенно ясно.

Я ненавидел это зеркало, которое хранило в себе и знало слишком много, оголяя в странной игре человеческую душу, двойную ее подкладку, в нем было некое чудо скрытой второй жизни, оно пугало меня в юные годы своей беспощадностью, потому что я видел в нем не героическое лицо человека, которым хотел быть я, а видел робкую улыбку, прыщички на лбу, длинную шею...

Это был мой двойник, возникающий в плоскостных пространствах, облик правды, ничем не прикрашенной, сама естественность, — и мальчишеское разочаровывающее познание собственной плоти угнетало меня невыносимой тоской по совершенству и красоте. Где был я и где не я? Кто с таким длительным вниманием рассматривал меня из глубины зеркала?

Мне до сих пор кажется, что зеркало знает о нас больше, чем мы о нем, что оно обладает тайной и жестокой силой правды и безжалостного напоминания о конечности всех дорог.

Когда утром, вы замечаете на лице своего двойника бледность усталости, тусклую полуулыбку грустного опыта, новые морщинки вокруг глаз, не кажется ли вам, что все продолжительнее, все настойчивее и печальнее звонят дальние колокола?



«КАК МНЕ ЖАЛЬ ТЕБЯ...»

Они лежали обнявшись и она, потираясь кончиком носа о его нос, говорила шепотом:

— Как мне жаль тебя, как жаль!..

Он полувиновато улыбнулся, но ему неприятно было слышать эти ее ласковые слова, они унижали его мужское достоинство, любовь к ней, единственной женщине, его жене, с которой душа в душу прожил двадцать пять лет. Они оба, к счастью, еще не оступ, не утратили

прежней молодой нежности, где даже молчание, теплое прикосновение взгляда, улыбка выражали одно и то же прекрасное, вечное, подаренное человеку природой в счастливый час земли.

Никогда раньше она не произносила этих слов о жалости, и он, не отвечая ей, подумал, что все счастливое, долго затянувшееся, прежнее завершилось в этот миг. Она, вероятно, разлюбила его, охладела, силясь заменить

любовь жалостью, и вот оно, ледяное, старческое... Неужто наступила новая пора в их жизни, тихая, разумная, предзимняя, с холодком северного ветерка, с запахом увядания, с прохладным солнцем над пустотой полей?

Она сказала о своей жалости летним утром, едва они проснулись после того, как ночью, целуя, прижимаясь к нему, говорила совсем другое, страстное, стеснительное, полусумасшедшее, что на самом деле всегда сводило его с ума, и теперь он почувствовал с внезапной обидой нечто фальшивое в прошедшей ночи и нечто обреченное наконец самой правдой, выявленной этим утром, ее одной разрушительной фразой: «Как мне жаль тебя...»

Он повернул голову к окну, увидел пронизанные ранним солнцем янтарные складки не задернутой полностью шторы, нагромождения влажных городских крыш — и смотрел, боясь вернуться, боясь встретить ее взгляд.

— Почему... тебе жаль меня? — не отводя глаз от окна, странно улыбаясь, спросил он и еле справился с сердцебиением, мешавшим сейчас говорить и дышать.

Она промолчала, только вздохнула.

И он повторил тихо:

— Почему?

— Ты не представляешь, как мне жаль тебя, — заговорила она шепотом. — Разве ты не думаешь, что совсем уже скоро нам придется расстаться друг с другом... и со всем этим миром?

Он понял и, скользнув сознанием мимо неизбежного, неумолимого, ждавшего их впереди, помолчал с облегчением, похожим на радостное безумие (нет, она не лгала ему, и оставался запас надежды на неопределенный срок земной любви), сказал осторожно:

— Ты еще любишь меня?

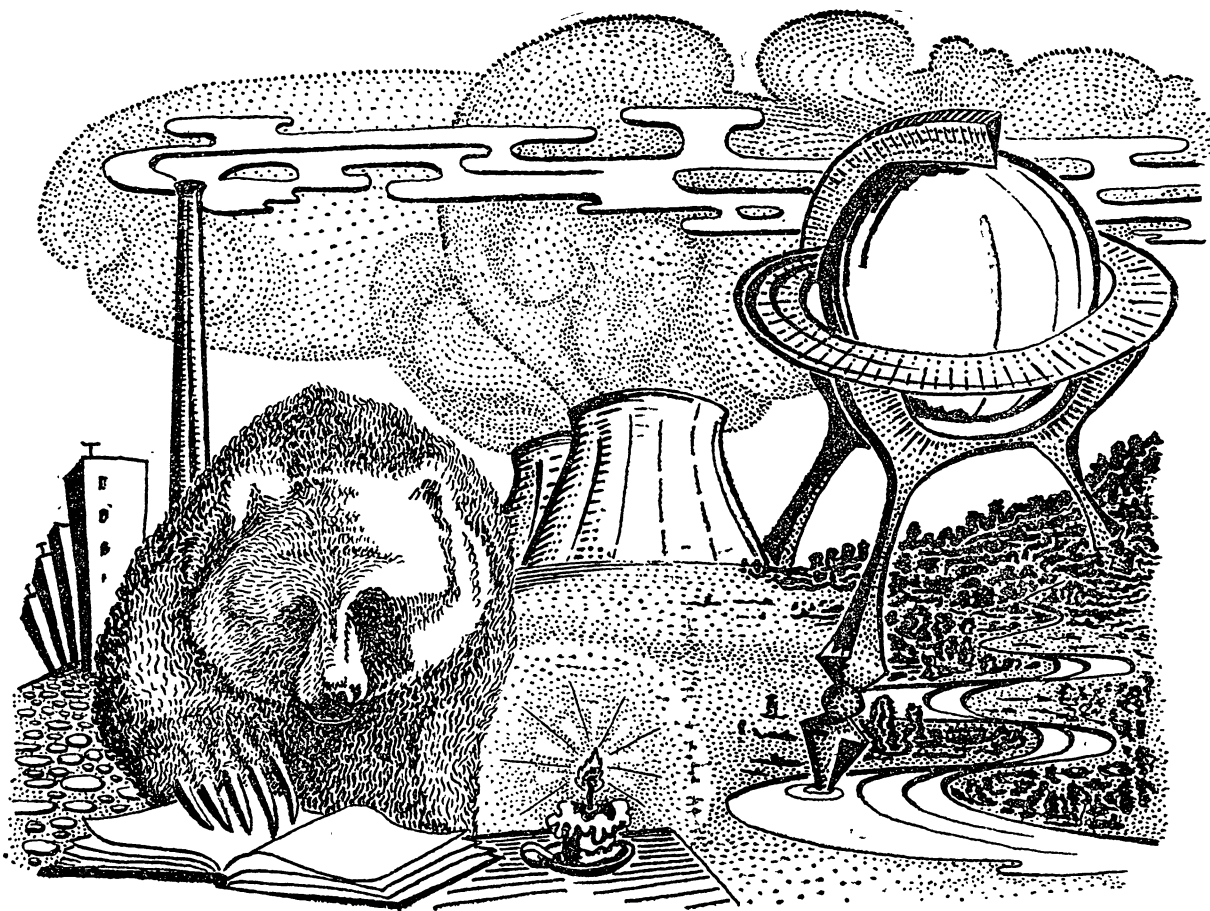
— Наверно, это больше чем «любишь». Я молю судьбу, чтобы мне не пережить тебя.

— И я думаю о том же, — сказал он хрипло, думая, однако, не о последнем мгновении смертного часа, а о том, чтобы она не погасила тлеющий огонек многолетнего тепла между ними, напоминавший им обоим молодость, веселый блеск глаз, озорство, ненасытность любви и ожидание еще всей непрожитой жизни.

— Наверное, тебе приснилось что-нибудь грустное? — спросил он, успокаивая и ее и себя.

Она выпростала руку из-под подушки, погладила его по голове, как ребенка, всматриваясь в его лицо теплыми, родными, готовыми плакать и смеяться глазами.





2

СВЕТ В ОКНЕ

Январская метелица, скрип мерзлых тополой в переулке, верховой ветер гремел железом крыш, срывал снежную пыль с карнизов, нес ее вдоль побеленных заборов, над свежими сугробами, а оно, это единственное среди ночи окно, светилось зеленым уютным пятном и, всегда одинаково яркое, теплое, занавешенное, притягивало к себе, вызывало томительное ощущение неразгаданной тайны.

Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот приятно-домашний маячок в деревянном домике, этот загороженный занавеской огонек настольной лампы — и я представлял маленькую натопленную, пахнущую деревом комнату, стеллажи, заставленные старыми книгами, по всем стенам, потертый коврик на полу перед диваном, письменный стол, стеклянный абажур лампы, распространяющий световой круг в полумраке, и кого-то тихого, мило суту-

ловатого, в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окруженный благословенным раем книг, листал их ласкающими пальцами, ходил в тишине комнаты шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был — ученый, писатель? Кто?

Раз прошлой весной (в темноте набухшей сыростью мартовской ночи пахло талым снегом, всюду капало, шуршало, тоненько звенели расколотые сосульки, фиолетовыми стеклышками отливали под месяцем незамерзшие лужицы на мостовой) я глядел на знакомое, таинственное, бессонное окно, на ту же, как всегда, зелено-ватую-теплую, освещенную изнутри занавеску, испытывая вдруг совсем уж необоримое чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыхание отодвинутой материи и

его родственное в моем воображении лицо, белое, иссеченное сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол, заваленный листами бумаги, внутренность комнатки, забитой книгами, старенький коврик на полу... Мне хотелось сказать ему, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру по адресу, — примитивно солгать, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительно-покойный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в окружении книг, казалось, единственно верных его друзей.

Но я не решился и не постучал; позднее же не мог простить себе этого.

Нет, в мире спустя два месяца ничего не изменилось, все было по-прежнему, а в тихоньком переулке была полная весна, прозрачный майский вечер синими тенями лежал на тротуаре; медленно темнело в глубине замоскворецких двориков; среди свежей молодой зелени зажигались фонари над заборами, и мне было видно, как майский жук с тугим гудением потянул из сумерек, ударился о стекло фонарного колпака, упал на жесткую свою спинку на тротуар, замер, потом задвигал ошеломленно лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я помог ему носком ботинка, сказав зачем-то: «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она была в трех шагах от окна), и тут только почувствовал я какое-то тяжелое неудобство, внезапную пустоту, холодно глянувшую на меня из густой синевы майских сумерек.

Окно в домике не горело. Оно было темным, как провал...

Что случилось?

Я дошел до конца переулочка, постоял на углу минут двадцать, потом вернулся, еще надеясь увидеть привычный свет в окне. Но окно черно, сумрачно отблескивало стеклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней приятное зеленое зарево, как бывало по вечерам, и в один миг все стало мертвенно-мрачным, неприятным, и показалось — там, в невидимой этой комнатке, произошло несчастье.

С нарастающим ощущением беспокойства я опять дошел до угла, выкурил здесь две сигареты и, уже подсознательно торопясь, вновь вернулся в переулок. Я говорил себе, что сейчас или через несколько минут вспыхнет зеленый свет на занавеске и все в переулке станет обыденным, умиротворенным...

Свет в окне не зажегся.

А на следующий день в час ранних сумерек я почти бегом завернул по дороге домой в соседний переулок, и здесь неожиданное открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдернута, выказывая нутро комнаты, книжные полки, какую-то карту на стене, — все это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за вечерней работой.

Пожилая женщина с мужским лицом и мужской прической стояла у письменного стола, курила, смотрела в пространство усталыми глазами.

Тотчас же она заметила меня, несколько раздраженно задернула занавеску — и прежним зеленым пятном засветилась настольная лампа. А я ощутил, как странная пустота шершавым холодком вползла в мою душу. И дом, и переулок, и свет в окне сразу представились мне тусклыми, ложными, чужими.

И я понял, что случилось несчастье, что мой воображаемый друг, тот седенький одинокий старичок с милой шаркающей походкой, книжник и философ, к которому при ежевечернем свете окна так тянуло меня, так влекло к сладостному душевному общению, не мог быть увиденной сейчас у письменного стола женщиной с нахмуренным мужским лицом. В первый момент узнанной правды я ощутил себя ограбленным собственным воображением, почувствовал острую скорбь утраты, как будто только что похоронил давнего друга, так явственно сознанием моим созданного, самого близкого, родственного по духу человека, которого никогда не знал, не видел, но который нужен был мне всю жизнь.



ВЕЧЕРОМ

Шел по улице в сторону площади Старого собора, мимо костела, где была служба. Там желто, тепло горели свечи, звучала органная музыка, настолько грудная, небесная, что вызы-

вала в душе тихое чувство, неземное и вместе с тем земное очищение, ибо чувствовать, страдать и радоваться суждено человеку на земле, и здесь мучиться неудовлетворенностью быстро-

течных желаний, стремясь в некое недостижимое лоно любви, золотого добра и умиротворения, что должно когда-то стать найденной сущностью человеческого скитания...

Я думал о последних, предсмертных словах Декарта и ходил по площади; накрапывал дождь. Он постепенно усиливался, застучал по навесам, по окнам старых пивных, накуранных, неярко освещенных; отражались в лужах старинные восьмигранные фонари, запахи сыростью каменные арки, ведущие в глубь темных дворов, тускло чернели железные решетки на витринах закрытых магазинов, омывались дождем пустые машины на площади.

Потом какая-то компания подгулявших людей выскочила из ресторанчика; один, крича, пьяно взвизгивая, вдруг выхватил металлическую урну из гнезда на столбе и швырнул ее в своих приятелей. Урна покатилась по мокрой брусчатке, рассыпая смятые коробки от сигарет, клочки газеты, огрызки яблок. Двое парней со злыми лицами кинулись к пьяному, а из откры-

того окна ресторана высунулась женская фигура, крикнула что-то хрипло, как бы предупреждая их.

Двое парней схватили пьяного под руки и повели его куда-то, уговаривая:

— Weg, weg!..¹

Прохожие, стоя на автобусной остановке, смотрели на них с равнодушием, боязнью и любопытством. Пьяному было лет семнадцать. Его вели, у него подкашивались ноги, запрокидывалась голова, он плакал, скрипел зубами и стонал.

Когда, сделав круг по площади, я возвращался к освещенному внутри костелу, три девушки с зонтиками, смеясь, входили в притемненный подъезд; одна, закрывая и стряхивая зонтик перед парадным, повернула лицо, посмотрела на меня насмешливо-вопросительным взглядом.

Наверное, ее удивило то, чего я сам не мог видеть на своем лице, подходя к костелу; напольному огоньками свечей и безгрешным великолепием — звуками органа.



АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Ласковый, солнечный апрельский день шестидесяти третьего года, огромная, вся залитая светом квартира Яна, его кабинет с коллекцией фарфора XVII века, с ценнейшим набором курительных трубок времен Наполеона, старинными часами (были здесь даже личные часы Лихтенштейна), дорогими картинами старых голландских мастеров. Везде бросалась в глаза немецкая чистота, переизбыток достатка, утонченный вкус, и сам хозяин этой квартиры был красив, приветлив, весел, доволен собой, жизнью, женой — она, тоже молодая, красивая, недавно родила ему дочь, которую называли Камиллой в честь героини нового и шумного его фильма.

Мы сидели на открытой террасе с видом на всегда прекрасную Прагу, на древние Градчаны, сидели, пригретые весной, овеванные верховым ветерком, и была тишина, солнце, особое настроение свободы, беспечности, ожидание радости, какое бывает только в мягком душистом воздухе апреля. Ян с удовольствием делал горько-сладкие коктейли, беря разнообразные бутылки со столика на колесиках, бросал в напиток лом-

тики лимона, мешал соломинками в бокалах, то и дело падал на спинку кресла со смехом, слушающая мой рассказ о Житомире, который в сорок третьем году мы взяли с ходу после Киева и тут же возле раскаленных пушек «обмыли» победу по причине обилия шампанского, оставленного немцами на своих продуктовых складах. Ян смеялся и восклицал:

— То есть фантастичне!

Так и остался в моей памяти этот жизненный, по-весеннему обещающий счастье день, и солнце в большой уютной квартире, и пахучий ветерок на высоте террасы, и городская даль Праги в апрельском прозрачном воздухе, и главное — ощущение вечной радости, ощущение своего здоровья, успеха, легкости жить в этом прекраснейшем мире.

И когда теперь, в семидесятых годах, я приезжаю в Прагу, мне не хочется верить, что не будет уже того молодого весеннего дня, того ласкающего ветерка и той солнечной тишины,

¹ Прочь, прочь!.. (нем.)

что не встречу с Яном, не буду сидеть на открытой террасе его квартиры — не верю, что его нет в живых, и, не веря, каждый раз по приезде с непонятной надеждой думаю в гости-

нице: может быть, вот сейчас раздастся телефонный звонок и я услышу голос Яна, его смех из того далекого счастливого дня нашей молодости?



ОСЕНЬЮ

Свежим октябрьским вечером, наполненным ветром, шорохом листьев, запахами близких холодов, гулял по аллее совершенно один под остро блестящими в черноте зигзагами созвездий; свет фонарей качался по забору, по осыпающимся листьям — и слева от меня сквозь этот непрерывный шелест где-то возникала, плыла отдаленная музыка, пел женский голос, как показалось мне, об ушедших днях, об утраченном лете: играло радио или была включена радиола, видимо, в санатории.

Остановился с мгновенным ознобом на спине, как будто толкнуло что-то, задохнулся даже от внезапных и неясных воспоминаний.

Долго смотрел в чащу деревьев, на отсветы фонарей, на странно и знакомо освещенный забор, словно все это — и забор, и деревья, и музыка — перенеслось на много лет назад, куда-то туда, в юность — пору, навсегда ушедшую и полузабытую, которой словно бы никогда и не было. И запахло так же сладостно, то ли угольной паровозной гарью, то ли осенним

двором с освещенными окнами, где меня ждали. Где это было? Когда? В Актюбинске?

Да, ведь тогда была война, осень, окраина, заборы, редкие фонари, скрипящие на ветру, и я шел по хрустящим листьям, мимо этих заборов на окраине, семнадцатилетний курсант пехотного училища, голодный, влюбленный, еще не знающий, что такое женщина, не знающий, что такое война, но мечтающий совершать подвиги так, как может мечтать искренний мальчик в семнадцать лет, с чистой верой в свое бессмертие, славу, в восхищенные от любви и радости глаза той, которая тогда терпеливо ждала меня вечерами за освещенными в маленьком актюбинском дворе окнами.

Но тогда я еще не знал, что такое смерть, и что такое любовь женщины, и что такое первые слезы.

Я ждал впереди целую жизнь. Я верил в бесконечность своей юности, и все было юным: и она, и я, и тусклые фонари на ветру, и окраина, и осень...

Неужели это были лучшие дни моей жизни?



БЫКИ

Была война и неистовая жара в Казахстане. Раскаленное солнце висело над степью, жгло мне затылок, и сквозь молотообразные удары в висках я слышал сверлящий треск кузнечиков, позвякивание металлических заноз в деревянном ярме на шеях двух быков, запряженных в арбу. Быки, худые, измороенные зноем, не переставали жевать свою жвачку; в уголках их бездумных глаз черным роем шевелились мухи,

а они, не моргая, стояли терпеливо и равнодушно, видимо, привыкнув к этой постоянной рабей покорности, ежедневной пытке.

Я работал в степи первый день, все время помня ядовитое выражение на крепких чугуннозагорелых лицах скирдовщиков, встретивших меня в колхозной конторке насмешливыми взглядами. Был я в легких парусиновых туфлях, в белых расклеванных брюках с надраен-

ной морской бляхой на ремне, эвакуированный городской мальчишка, форсоватый по виду, совершенно непонятный этим выросшим в степи парням.

Морская бляха и расклешенные мною летние брюки отца, которые он носил еще в тридцатых годах, были знаками моей школьной мечты о флоте. Тогда слова «шхуна», «бригантина», «скипер» и «марсель», вычитанные из книг, вызывали у меня святой трепет, мысли о дальних странствиях, тугом и ласковом ветре над солнечно-белыми парусами, о неведомых перламутрово сияющих лагунах в теплых морях, о чужих и незнакомых портовых городах, залитых огнями, с ночным запахом гниющих бананов на берегу, вблизи которого покачивались в черном южном небе созвездия фонарей на мачтах. В восьмом классе я наизусть выучил морскую терминологию, названия снастей парусного флота по разным старым учебникам и сноскам в романах Джека Лондона. Я даже выменял у кого-то лоскут тельника и, пришив его к майке, ходил с расстегнутым воротником рубашки, чтобы виден был этот полосатый кусочек моря. При одном взгляде на него я ощущал запахи ветра и далеких пространств.

В девятом классе с надеждой поступить в военно-морской клуб я спал зимой с открытой форточкой, по утрам выжимал гантели, купил морскую бляху и ходил по-матросски — чуть враскачку, как бы приучая себя к ныряющей под ногами палубе.

В тот жаркий август сорок первого года, вернувшись после рытья окопов под Смоленском, я не застал в Москве родных и только по записке матери, оставленной управдому, нашел после долгих поисков семью, эвакуированную в Казахстан. И тут вдруг понял: все прежнее, детское уходило, исчезало, подобно тому как кончается и сказка о Золотом дворце среди синего моря и доброй колдовской Жар-птице, — я был старший в семье и теперь знал, что мать и младшие сестры стали моей ответственностью.

— Ось яка гарна пряжка! — сказал в конторке бригадир скирдовщиков Бендик, покачав плечий, весь похожий на железный клин острием вниз, и, захохотав, подергал пальцем бляху на моих брюках, едко спросил: — В Москве що — мода така? Иль просто цацка?

Я молчал. Скирдовщики, молодые парни в грязных сатиновых рубахах с белыми заскорузлыми пятнами пота под мышками, разглядывали меня с усмешками, перемигивались сквозь дымки тютюнных самокруток и снисходительно цвикали на земляной пол — сплевывали через щелочки зубов.

Я понимал, что мой нездешний, городской

вид несколько смешон, игрушечен для них, но это и задевало меня. И уже в степи, получив пару быков и арбу (после иронического распоряжения Бендика: «Попробуй, як воняе бычий пот, носовую утирку и деколон в другой раз с собой бери, московский!»), я вел за налыгач быков к желтеющим бесконечными рядами копнам и думал, что умру в этой степи, но докажу им, на что я способен.

Я стал накладывать копны на арбу с какой-то ожесточенной механичностью, втыкая вилы в сухую пшеницу, в ее шуршащие стеблями недра. Я пытался поддеть треть копны, чтобы завалить ее в два приема на арбу. Но пшеница скользила, распадалась, не удерживаясь на зубьях, сыпалась мне на голову, на потную шею, лезла за ворот прилипшей к спине тенниски. Горячая, пахнущая степью пыль засыпала глаза, колотье набивалась в нос — и лицо, и все тело начинали нестерпимо зудеть. Стиснув зубы, я содрал с себя насквозь пропотевшую тенниску и, сознавая бессилие и отчаяние, с ужасом думал, что так к вечеру не нагрюжу ни одной арбы. Это отчаяние стало походить почти на удушье, когда я увидел через час потянувшиеся по степи к начатой скирде нагруженные арбы, смутно заметил или представил повернутые в мою сторону сморщенные лица скирдовщиков, не сказавших мне, однако, ни слова.

Я уже, как загнанный, кидал и кидал рассыпавшиеся с вил комки пшеницы в арбу, я задыхался от напряжения, от жаркого запаха пшеничной пыли. А солнце раздваивалось, расплывалось над моей головой, черные точки роились перед глазами, мутно звенело, ударяло в уши и в затылке тупыми ударами деревянного молота. И мне на какую-то секунду показалось, что я, весь потный, страшный, со скрипящей пылью на зубах, весь накаленный солнцем, упаду сейчас возле арбы от солнечного удара, от этого степного пекла, от своих сумасшедших мускульных усилий, от горячего пота на веках, застилающего степь.

На миг, будто в малярийном бреде, почудилось — возникла около быков клинообразная фигура Бендика, ухмылка растягивала его рот, он сказал что-то, указав на копны, на мои вилы, потом вроде бы попробовал вырвать их у меня из рук, но я только с непонятной дикостью прохрипел: «Уходи!» — и отрицательно замотал головой, вонзая вилы в копну.

Больше никто ко мне не подходил. Я уже не знал, что происходит со мной: может, это был выплеск мальчишеского самолюбия, может, неистовость озлобления на собственное бессилие, разрушавшее все, связанное с той открытой зимой форточкой.

Нагружая арбу, я не заметил даже наступления полудня, самого невыносимого, жаркого времени, когда все, прокаленное до каждого колоска, замирает в степи, задушенное сверканьем пекущего солнца, серебристым текучим маревом зноя. Мне показалось: перестали скрипеть арбы, перестали доноситься голоса из-за рядов копен, лишь обморочно звенел пульсирующий ток крови в висках.

Раз, оглянувшись, я словно бы чужим зрением увидел в отдалении сложенную на одну треть скирду, стоявшую возле нее арбы с полегшими на стерню быками, увидел под скирдой в жиденькой тени разворачивающих свои узелки с едой скирдовщиков — и отвернулся мгновенно: они смотрели в мою сторону, разбивая о крепкие локти куриные яйца, и переговаривались между собой.

Когда же, наверно через час, я наконец нагрузил арбу так, как нагружали они, эти выросшие в степи парни, ноги едва держали меня, я, пошатываясь, слышал только свое зашедшее дыхание, стук сердца отдавался в ушах. Я точно оглох. Солнце, как в красном пожаре, раздробливалось черными кругами и искрами перед моими залитыми ядовитым потом глазами. Я дрожащими руками обтер размытую пыль с лица, подошел к быкам, по-прежнему с рабьей тупостью однообразно и глупо жующим в густом облаке мух и слепней, и, чувствуя пылающие мозоли на ладонях, взялся за мокрый от бычьей слюны налыгач, из последней силы потянул его.

Быки пошли, арба взвизгнула, заскрипела и тронулась, переваливаясь под тяжестью нагруженных копен. Я вел арбу к скирде, я старался ступать твердо по стерне — шел навстречу взглядам парней и ощущал их внимание на себе. Уже безобразно были изодраны стерней мои парусиновые туфли и совсем стали серыми от пыли прилипшие к ногам расклеванные щегольские брюки. Брюк мне, однако, сейчас было не жалко, не жалко было и легких удобных туфель, которые я утром старательно почистил зубным порошком.

Я шел, всхлипывая от изнеможения, представлял, что думали обо мне скирдовщики, и испытывал такое унижение, какого не испытывал ни разу в жизни. В то время как каждый из них нагрузил по четыре арбы до полудня, я с великим трудом едва нагрузил одну — и выбился из сил вконец.

Они сидели под скирдой, грызли молча огурцы, наблюдали за мной со следящим вниманием людей, пришедших на казнь.

— Ну? — лениво спросил Бендрик, сощурился, и с неприятным хохотком подмигнул парням: — Понял, чем белая булка пахнет, мо-

сквич? Чи нет? Сядь, огурца пожуй. Потом робить будем.

— Принимай! — сквозь зубы выговорил я, готовый уже на все, лишь бы только скорее, скорее уйти из-под унижающих меня взглядов, от этого насмешливого внимания, будто раздвояющего меня с ног до головы.

Я остановил быков возле скирды и ожидал, кусая горькие губы. Бендрик не без удивления сплюнул, выругался, окинул меня дерзким светом синих степных глаз, затем неохотно влез по лесенке на скирду, крикнул оттуда:

— Подавай, ну?

Пытаясь не глядеть на парней, я с усилием взобрался на арбу, потоптался на пружинящих, хрустящих под ногами копнах и, поддев вилами, метнул Бендрику на скирду ворох пшеницы, обдавшей меня душной пылью.

В тот же момент арба дернулась, рванулась из-под меня, край скирды колючим жаром толкнул в бок, окорябало щеку и локоть, на секунду мелькнуло надо мной измененное судорогой лицо Бендрика. И тотчас вместе с копнами, еще не понимая, что случилось, я стал проваливаться, падать куда-то вниз. Копны пшеницы, валяющиеся с арбы, смягчили удар о землю, я ощутил всем телом и руками иголки острой стерни под собой и, задыхаясь, вскочил, увидел свою арбу, притертую к изуродованной скирде, рассыпанные копны под ней, сметенные, срезанные столкновением с ее краем. Мои быки с умолимой одержимостью все тянули арбу, прижимались к скирде, осыпанные пшеницей, мотали головами, терлись о нее, видимо, так отгоняя слепней и мух, чесались мордами с тупым наслаждением, слюна свисала с их губ и тоже моталась тягучими волокнами.

И тогда, растерянный, весь в серой пыли, выбираясь из ворохов сваленной с арбы пшеницы, я почувствовал, что сейчас заплачу от отчаяния. Все, что мог я сделать и наконец сделал адским напряжением, было в одно мгновение уничтожено быками — лежало теперь бесформенной горой на земле.

Человек может быть смешон и в бессилии. Это страшно тем, что смех других представляется ему в ту минуту противоестественным, чудовищным надругательством, дикостью, уничтожающим все человеческое. В каком-то беспомоществе защиты, с одним желанием не слышать этот смех я срывающимся голосом тонко крикнул что-то им и, смутно видя их лица, вскочил на арбу и стал вилами бить по костлявым задкам быков, по-прежнему тершихся головами о скирду. Во мне толкалась, рвалась мысль: скорее уехать, скорее отдалиться от этой скирды, от этого чудовищного смеха, будто оголившего меня перед ними, раздавившего окончательно.

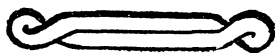
Арба отдалялась от скирды, быки от ужасной, видимо, боли тяжело трусили по стерне мимо копен, а казалось, что они лениво и тупо шагали, непослушные мне. И тут с мстительной злостью слепого бешенства я откинул в арбу вилы, сорвал с себя ремень и стал полосовать морской пряжкой по жестким кострецам, уже плохо соображая, зачем я заставлял их бежать — делать то, что не было свойственно их природе.

У крайних копен быки стали, а я, крича что-то, все полосовал их ремнем, слыша костяной удар пряжки, но они стояли как вкопанные, тяжело сопя. И с ужасом я увидел кровавые подтеки на их задах. Тогда я посмотрел на ремень:

морская пряжка была погнута. Я очнулся и, боясь, что в тот миг разорвется мое сердце, уронил ремень, прыгнул с арбы, кинулся к быкам, загнанно поведившим боками, и, глядя испуганно на их потные морды с огромными, налитыми кровью, покорными глазами, ощущая на руке их горячую слюну, шептал вздохом, с сумасшедшей нежностью просящего прощения истязателя:

— Идиоты, идиоты!.. Что же вы наделали?

Быки с покорностью прерывистым жаром дышали мне в дрожащие пальцы, и я видел, как черные мухи облепливали их белые неморгающие ресницы, сосали крупные слезы, выступившие в уголках их глаз.



ТОСТ

— Я хотел сказать, дорогие друзья...

— Петя, у тебя нет никаких замечаний и предложений гостям?

— Я люблю эту природу. Мы ходим по лесу с женой и целуем каждое дерево... каждую березку... Пусть осень, опадают листья, но все равно будет весна. И пусть будет много весен. Надо охранять свое поле... поле прожитой жизни. Я каждое воскресенье уезжаю из каменного города, хожу по лесам, и я здоров как бык...

— Постучи о дерево! Постучи!

— ...Здоров как бык... Я хочу, чтобы люди, все люди были здоровы, красивы, а не как мешчане...

— Почему вы указываете рюмкой в мою сторону?

— Простите, это случайно, это жест...

— Петя, у тебя нет никаких других замечаний и советов гостям?

— ...Мы бегаем с женой каждое утро пять километров. Она задыхается, она кричит: «Я не могу!» — а я ей: «Ищи третью ноздрю».

— Это что же такое — второе дыхание?

— Третье. Потом звоню ей на работу: «Зинка, ну как?» Она: «Прекрасно себя чувствую». Я делаю ей массаж. Каждое утро. Она раньше потела...

— О чем ты, Петя? Перестань, пожалуйста.

— Она потела...

— Ну, начинаются подробности.

— Нет, вы не смейтесь, я должен досказать...

— Петя, перестань, ты немножко пьян, ты говоришь лишнее, бог знает что!

— ...Космонавты увидели Землю с высоты и тогда поняли... Красота-то какая — Земля...

— Петя, Петя, сядь, пожалуйста! Ты льешь из рюмки себе на костюм!

— Я сяду, но звездное небо и наша Земля — это красота в красоте, эт-то...

— А от этой настойки на дубовой коре не дашь дуба?

— Завтра утром проснетесь и спросите себя: а пили ли? Голова светлая, настроение молодечное... Я сам делаю эту настойку. Я с женой каждую травку!.. Вы перебили меня, я хотел сказать, что мы должны поклоняться земле...

— Форточку! Окно откройте! Дышать нечем. Сандуны! Жарко!

— ...Звездное небо... Что такое счастье? Счастье — это ожидание счастья. Кто так сказал, не помню, но очень верно и жизненно сказано. Вы когда-нибудь видели ночное небо в августе? Зина, не дергай меня за рукав, они должны понять, что такое счастье жить...

— Трое англичан в смокингах сидят в роскошном ресторане в Гранд-отеле...

— Замолчите! Это неприличный анекдот!

— Нет, вполне приличный. И в это время входит красивая женщина...

— Неприличный анекдот!

— А я говорю, совсем приличный! Женщи-
на подходит к ним, садится за столик, берет из
вазы яблоко...

— ...Вы опять перебили меня. Я хочу вам

всем сказать, что ночное небо в августе — да,
да, можно заплакать от счастья его видеть...
Зина, не надо дергать... Вы слышали, как пада-
ют ночью созревшие яблоки в саду? Дайте,
дайте, договорить!..



ЗВЕЗДА И ЗЕМЛЯ

Я проснулся глубокой ночью от неистового бега, грохота колес, от скрипа полок, от дребезжания полуоткрытой двери купе — над головой ходили пронзительные струйки сквозняков.

В коридоре и купе было темно: я долго лежал с открытыми глазами, угадывая в потемках черный квадрат окна, за которым все было непроницаемо, по-ночному глухо, и невозможно было понять, степь или леса шли в этой бесконечной, тайной, непостижимой, как мрак, вселившейся.

Потом в законной пустоте неба вспыхнула запредельным огнем, замерцала синяя одинокая звезда.

Поезд по-прежнему мчался, не сбавляя набранной скорости, затерянный в темных осенних пространствах, без земных огней, невидимый с невысказанной высоты этой звезды, горевшей среди ледяных космических пустынь, отединенных от земли многомиллионными расстояниями.

В высокомерной своей недосыгаемости звезда плыла рядом с вагоном, ярко, космато шевелила щупальцами лучей во мраке мироздания, проникая сквозь его холод, и я неотрывно смотрел на нее с чувством восторга и страха перед неразгаданностью каких-то существующих вне разума законов, которые для чего-то беспощадно уплотняли вечность в миг и миг растягивали в вечность. «Значит, вечность — это жизнь, миг — это разрушение?..»

И мне стало страшно оттого, что все бесстрашно перед этими законами: жизнь, любовь, искусство, сама Земля, этот обжитой уютный островок в беспредельном угрожающем океане неизвестности. Какое одиночество и какую опасность должна испытывать Земля, зная свою обреченность, свою гибель в н-й день, уже записанный в последней и печальной главе мирового закона. Зачем, во имя чего должны сойтись, остановиться и, конечно, вновь начать движе-

ние стрелки вселенских часов? Может быть, в этой роковой несправедливости лежит закон строгой справедливости? Но опять же во имя чего? Видимо, ответы на это записаны в ту книгу великого обновления, которую никому и никогда не суждено прочитать. Как и человеку невозможно перехитрить, обмануть, обойти собственную судьбу, так невозможно изменить, задержать движение мирового времени, ускользнуть от него, перевести назад стрелки часов с самоуверенной надеждой на то, что так продлится дыхание жизни.

И я представил нашу Землю, какой она может видиться с высоты этой равнодушной осенней звезды, маленькую, голубоватую пылинку, этот воздушный кораблик, мчащийся сквозь толщи фиолетового холода, звездного света, сквозь метеоритные, сверкающие туманы, представил его хрупкость, его слабость, его ограниченные запасы воды и продовольствия — и ужаснулся при мысли о беспомощности его перед вселенной.

Если бы каждый из команды на этом корабле осознал, что впереди смертельный риф и в столкновении с ним бесследно исчезнет, рассыплется в ничто прекрасная его плоть, состоящая из лесов, рек, океанов, дождей, закатов, зелени травы, красивейших городов, памятников, соборов, машин, книг, полотен живописцев, все то, что создано гениями человеческой мысли и человеческими руками, если бы каждый хоть на минуту задумался о скоротечном веке Земли, люди не распатывали бы свой корабль с борта на борт, не пробивали бы дыры в его днище дьявольскими силами расщепленной природы, не полосовали бы ножами злобы и ненависти с одержимостью самоубийц надутые паруса, забрызгивая их собственной кровью.

Неужели никогда люди не поймут, что Земля должна быть их чистым, светлым белопарусным кораблем, путь которого, к сожалению, не бесконечен?

Но стоит ли думать об этом? Ведь человек редко задумывается о своей смерти, а задумываясь, успокаивает себя тем, что с ним это случится когда-нибудь потом, потом...

Потом — форма самозащиты, но в этом «потом» есть и оттенок странной и почти необъяснимой надежды: а может быть, и не случится именно со мной? Мысленно отодвигая смерть или с трудом веря в возможность смерти, люди порой утрачивают главное — смысл неповторимости жизни, и тут наступает безжалостное отчуждение Земли и человека. Тогда наша крошечная планета становится лишь средством для достижения временных удобств и удовольствий, перерастающих в жестокую и отвратительную патологию, подобную насилию детей над матерью.

Да, да, человек не только сотрясает, терзает и ранит плоть Земли разрывами снарядов и многотонных бомб с той поры, как начались войны, но он превращает свой дом в мусорный ящик, в грязную свалку использованных и уже ненужных предметов, в кладбище машин, транзисторов, бутылок, консервных банок. Человек душит, отравляет Землю химическими отбросами, как будто в неистовости алчного обогащения торопится убить и ее и себя.

Ведь Земля — это живое тело со своим ритмом, дыханием, пульсом кровообращения, и естественный ток крови в ней остановить смертельно. Несомненно, люди понимают, вернее, чувствуют надвигающуюся опасность и в то же время уповают на туманное «потом», в котором может ничего и не случиться с прекраснейшим из миров.

Но все имеет свои начала и свои концы.

Мертвый синий свет одинокой звезды дохнул до меня из запредельных высот, не согревая, холодея сентябрьскую черноту ночи знобящими ледяными лапами безжизненных лучей, и я почему-то вспомнил, что подчас достигает нас через космические пространства запоздалый

свет давно погасших звезд, как бы свет оправдания перед вселенной за свою гибель.

«Пока не поздно, — думал я, вздрагивая от острых, пронизывающих сквозняков в купе, от этого тоскливо-химического горения бесприютной звезды, которая теперь казалась мне умершей, но когда-то живой, веселой и цветущей планетой. — Надо что-то делать всем нам, пока не поздно!..»

Поезд, замедляя ход, все размереннее, все тише, успокоительнее постукивал на стрелках, донесся сквозь дребезжание купейной двери, донесся поскрипывание полок предупреждающий кого-то в ночи свисток локомотива. Затем мелькнули рассыпанные по густой тьме цепочкой дальние огни, мелькнул внезапно, ярко брызнул в вагон близкий фонарь над будочкой стрелочника, и начали надвигаться неяркие электрические лампочки закрытых пакгаузов.

Поезд сбавлял и сбавлял скорость — и через минуту навстречу поплыли над безлюдной платформой огромные освещенные окна большого вокзала с пустыми залами и тоже пустым и освещенным рестораном, — и по купе светло задвигались полосы электричества, эти живые признаки человеческого тепла.

Я оделся, вышел из вагона. Уже на перроне невольно посмотрел в небо — звезды не было видно. За вокзалом по-осеннему шумели тополя, на путях звенел, шипел пар маневрового паровозика. Заспанная проводница, сладко позевывая, игриво сказала мне: ежели в ресторан я собрался середь ночи, то он закрыт до утра.

Услышав звук человеческого голоса, увидев улыбку молодой женщины, я вдохнул с освобождением ветреный запах овечьего поездами вокзала, паровозного пара, теплого мазута — весь этот уютный запах железной дороги, и, шагая по свету вокзальных окон на платформе, думал, усмехаясь: «Потом, потом?..»

И странно — под властью защитительного отдаления мне стало легче.



ОТЧАЯНИЕ

Мой друг инженер был свидетелем ужасной сцены — мальчик во дворе поймал за гаражом голубя и ножницами отрезал ему лапки. Голубь бился о землю, пытаясь взлететь, бился головой, крыльями, всем телом в беспомощности,

оставляя слабую ниточку крови на асфальте, сизые перышки.

Мальчик наблюдал за птицей исподлобья, очень спокойно, внимательно, как человек, проводивший серьезный эксперимент. Инженер

бросился к нему, вырвал из его рук ножницы, проговорил с непониманием и гневом:

— Что ты наделал? За что же ты голубя?..

И мальчик ответил испуганно и тихо:

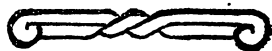
— Он не может летать без ног.

— Где твои отец и мать? А ну, покажи, где ты живешь?..

Он крепко схватил мальчика за плечо, и тот, ссутулясь, подрагивая бледными губами, гото-

вый уже заплакать, повел его к дому. В квартире был один отец, в застиранной пижаме, одутловатый, плохо выбритый, скрипнул протезом, нетвердо подымаясь из-за стола на кухню. Он выслушал инженера и ударил кулаком по столу.

— Чего ты пришел? — крикнул он с отчаянием нетрезвого человека, падавшего в бездну. — Он у тебя, что ли, ноги отрезал?



ДИАЛОГ НА СКАМЕЙКЕ В ПАРКЕ

— Вы были замужем?

— Да, была.

— И давно? То есть... вы еще очень молоды.

— О, у меня уже сын пяти лет. Мы разошлись.

— Значит, вы его не любили?

— Если бы не любила! Но лучше некрасивая правда, чем красивая ложь. Я простила бы его, если бы он рассказал все честно. А он говорил неправду. Он оправдывался, он объяснял, что это случилось в госпитале, что она

врач, и непохожа на меня, как небо на землю, что он любит одну меня. А я не смогла... простить. Я заставила его повернуться спиной и отвечать на вопросы. Я спрашивала, он отвечал. Самое ужасное было то, что он плакал и все-таки лгал, лгал: Потом он хотел взять сына... Он не женился... Он каждый год приезжает сюда, посмотреть на сына...

— Он приезжает посмотреть не только на сына, поверьте мне!

— Бессмысленно. У меня все перегорело, остались одни угольки.



ДИАЛОГ В ОЧЕРЕДИ

— Очень уж безобразно на этих станциях обслуживания — тоже очереди, полное шахермахерство, обман! Раз, представьте, приехала на одну эту станцию — у меня страшное, просто невыносимо жуткое положение: полетел в моем «Москвиче» подшипник. «Умоляю вас, — говорю слесарю или механику, как их там — не знаю, в общем, молодой парень, а глаза подозрительно красные. — Мне необходимо заменить...» — «Нету». — «Сделайте, ради бога, что-нибудь, ездить по Москве без подшипника — представляете, что это такое? Я хорошо заплачу!» Тогда он отвечает: «Ладно, покумекаю».

Прихожу через два часа. Волнуюсь, знаете, как на приеме у зубного врача. «Как?» — спрашиваю. «Будете ездить, — говорит, — сделал профилактику, заменил подшипник, все как полагается». Я даже чуть не заплакала от радости. «Где же вы достали его, милый?» — «Ваш вон у той машины, — говорит и улыбается, — а подшипник той машины у вас». Нет, вы представляете, какое же это безобразие! Так и езжу до сих пор с чужим подшипником! Ужасно! Когда это кончится? Какие надо иметь нервы? Так жить просто невозможно!

— Дак ить как же нам, матушка, долго жить? Нервинный человек пошел очень, деловой. Раньше вон мебель стояла крепкая, деревянная, сто лет — и нет ей износу. А теперь что — занавески эти модные выгорают, каждый год меняй. Диван, мол, старый, царя гороха сродственник, дети-то говорят, — и шась его на свалку! Новый покупают. Сервант, вишь ты, у соседки, ну прямо завистью душу рвет. Поку-

пай — не хуже, чем у людей. Деньги-то от чего отрываются? Опять же от еды. А пенсионеры-то, пенсионеры!.. Уйдет, матушка, на пенсию — габардиновое пальто шьет. Сто лет жить, что ли? Детям оставлять — мода пройдет. А то — часы на руку. Это что же, а? Часы... Я часы никогда не носила — рука у меня рабочая, некрасивая... Откуда людям-то здоровье иметь!



НЕПОНИМАНИЕ

— Степь? Это закаты, это рассветы, это тишина без конца и края... А полынь! Вы когда-нибудь вдыхали запах полыни? А летние или осенние ночи с миллионами километров звезд над головой! А на зорьке июльской, ежели еще по древнему обычаю верхом, когда от трав парным молоком пахнет, когда дорога звенит под копытами вашего дружка-коня, тогда лучшего ничего в мире нет, это уже запредельное чувство! А теплый ветер в лицо, а тюльпаны-красавцы охорашиваются перед восходом: умылись, и росу стряхивают, и выпрямляются в траве, и

кивают со всех сторон, и улыбаются вам и зорьке. Вы, кажется, не верите? А вы поверьте. Я прожил в степи половину своей жизни.

— Я помню другую степь — серую, мокрую, неудобную...

— Она такой не бывает, простите великодушно...

— Помню еще: в степи от лунного света стояли сизые сумерки, и как-то сразу похолодало к рассвету. Мне было скучно.

— Скучно? Простите. Я, видимо, не понял — о чем вы?..



САМЫЙ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

— О чем вы говорите, голубушка? Какой там еще запах сирени? Где вы чувствуете, как вы говорите, тонкую свежесть и аромат, скажите, пожалуйста? Не испытываю ничего приятного от этого парфюмерного благоухания. Сантименты, одни сантименты...

— Почему же?

— Запах пыли из-под колес машины уезжающего начальства — вот самый приятный запах. Какое наслаждение вдыхать его! Не-ет, вам не знакомо такое чувство!..



РАЗГОВОРЧИВЫЙ

— Свободно такси? Только счетчик, счетчик, молодой человек, в полном — как у вас — порядочке? Знаете ли, понимаете ли, ха-ха!.. Н-да, морозец! Черт его дери, так морду и общипал, пока я вас дожидался. Поехали, что вы меня разглядываете? Мы с вами что — где водку пили? Поехали, поехали! Только без жульничества, чтоб счетчик... а то знаем, ха-ха!.. Люблю я вас, таксистов, только жулики вы все. объегориваете пассажиров!

— То есть как жулики?

— Знаем, знаем, вам говоришь: до площади Ногина, а вы норовите на Неглинную завезти: и, мол, простите, ошибочка, и давай снова кругая давать, бараночку крутить, счетчиком по-

щелкивать. Грабежом занимаетесь, ха-ха! Форменным образом!

— Вылезайте, гражданин, я пьяных не вожу!

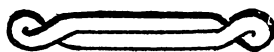
— Я абсолютно трезв! Но я опытный человек, знаете ли, понимаете ли, уважаемый товарищ водитель, и меня на мякине не проведешь. Я жаловаться буду, ха-ха! Я вашу фамилию запишу! Счетчик, как у вас счетчик? Гирька там внутри не привешена, не тянет? А то, может, в два раза такса у вас набегаёт? А? Как? Я вас, таксистов, насквозь вижу! Того и гляди без руки в карман нахально залезете! А деньги как достаются? Пóтом, пóтом! Вы за меня не волнуйтесь! Знаете ли, понимаете ли, я на счетчик гляжу — меня не обманешь, ха-ха!



«КАК Я БРОСИЛ КУРИТЬ»

— Курил я только «Прибой», после войны папиросы такой марки были. Утром в воскресенье прощу у жены червонец на папиросы. А в Одессе «Прибой» — исключительный дефицит, штаны запросто прокурить можно, потому что абсолютно с рук покупай... Ищу. «Прибоя» нет. Я иду на Вознесенскую, там инвалид торгует. У него тоже нет. Даже зло взял! Захожу в пивную, и что-то меня ударило: брошу ку-

рить! «Ваня, — говорю, — налей сто граммов и кружку пива, курить бросаю». Вечером уже прихожу к жене и говорю: «Пропил я деньги». А она вроде и не удивилась моему положению: «Я так и знала, когда ты уходил, у тебя такое было лицо». Тут я от непонимания этого сел к столу и махру закурил. Да так, что хоть колун вешай!..



«ЗАЧЕМ Я ТАК РАНО РОДИЛСЯ!»

— Это верно, женщины в наших краях очень красивые. Сами понимаете — юг, солнце, порода чувствуется и живут в чистоте.

До меня был тут директор совхоза,ходец по овинам несравненный, такие сейчас редко попадают, красавец мужик, усы, сапоги мягкие, кавказская папаха, а взгляд ястребиный, быстрый. Увидит какую-нибудь и аж побледнеет, порозовеет, глаза сначала хищными делаются, по-

том вроде теплым туманом подергиваются, так и обволакивают, так и опутывают какую-нибудь крепконую.

Однажды, когда уже на пенсии был, зашел он летним вечерком на танцы, в клуб наш, посмотреть по-стариковски на современную молодежь. Сел в углу с секретарем сельсовета, дружном своим, закурил, кряхтит, смотрит, седой ус покручивает. А девчата-то у нас видели

какие — походка, как у королев, сами статные, юбочки коротенькие, глаза у всех, как вода озерная, с ума, конечно, поневоле сойти можно...

Смотрел он, смотрел, да вдруг как заплачет навзрыд. Секретарь сельсовета очень удивился, даже рот приоткрыл и — к нему: «Ты что, Степаныч? Причина какая?» А тот прямо-таки рыдает, даже слезы по щекам бегут, ровно горе какое неожиданное случилось. «Зачем я так

рано родился? — говорит. — Девки-то какие! Яблоки, яблоки! Все бы эти яблоки на вкус попробовал, да поздно. Зачем так рано я родился!»

После войны мужчин здесь не было, он хозяйство подымал, энергии мужик был необыкновенной и при всем этом ни одну мимо себя одинокую без внимания не пропускал, если обстоятельства позволяли. Ох, орел был, да и женщины его любили, очень любили!..



НЕРАВНАЯ ДОЛЯ

— Ты будешь хороший. да? Не будешь меня обижать? А то знаешь, как мне ее жалко!

— Кого?

— Себя.

— Я же люблю тебя, единственная моя женщина.

— И ты все время будешь меня любить? Если со мной что-нибудь случится, ты будешь меня помнить?

— С тобой ничего не случится.

— А если?

— Всю жизнь. Но с тобой ничего не случится.

— Знаешь, в любви тоже несправедливость. Она не поровну распределяет долю. В ней нет равных долей.

— Я не понимаю.

— Мне дана большая доля, тебе меньшая. Ты меньше меня любишь.

— Экая арифметика странная!

— Нет, нет, вот что страшно — надоест друг другу. Тебе смешно, а я часто думаю об этом. Если я тебе надоем, ты сразу уходи, не говоря ни слова.



ЛУННЫЙ СВЕТ

В часы бессонницы пришла странная фраза: «Лунный свет омывает не каждого».

Почему не каждого? Почему лунный свет? Эта фраза не уходила из моего сознания целую ночь и была наполнена прелестным тайным смыслом, мучительной значительностью непостижимого в своей глубине подтекста, и я был счастливо окутан ее синим воздухом, ее колдовским секретом, обещавшим мне нечто блаженное, райское, как женская нежность, потому что

смысл фразы все-таки был связан с женщиной.

Утром же фраза показалась мне серой, тусклой, бессмысленной, но потом я записал ее — и вдруг огоньком прошел в душе отсвет ночного чувства вместе с каким-то апрельским молодым сквознячком любви, какой не раз испытывал в давней юности. И я подумал, что сейчас открыл весь подтекст этой фразы, исполненной не радости, а скорби к тем многим на земле, кого не омыло в пору весны лунное сияние.



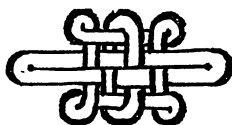
НАС БЫЛО МНОГО

...Сразу похолодало, поднялся ветер, сухо шуршал снег в чехлах орудий. Еще фосфорически тлела, не дотлевая, в недосыгаемой, как прошлое, бесконечности рваная полоса ледяного заката, но и ее уже охватывала, душила темнота, заволакивало черным дымом, пеплом сгоревшего жилья; ветер нес, раздирал голоса команд возле темневших по бугру машин, орудий, лошадей, и казалось — там непрерывно происходило какое-то кругообразное завораживающее движение, однако удаляясь и уда-

ляясь во тьму, к краю жизни, к угольно-красной щели заката, где обрывалось последнее...

Нас было много, и мы шли туда, молодые, веселые, не ощущая угрозы вечного одиночества.

Но какая безысходность одинокой песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда, за той далекой щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне все чаще.



АТАКА

— Что такое атака, спрашиваешь? А ты вот послушай. Как раз перед нами шоссе Москва — Воронеж проходило, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так: через шоссе броском перескочить, дальше ложбину перебежать, за ней на гору взобраться, а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе, нам снизу их стволы видать. Ну а за горкой кирпичный завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь — рубит насмерть. Но комбату это не причина, ему одно: взять завод — и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебежать, и по этому случаю роту я на себя принял — больше некому. А атака в полный день была — солнце яркое, все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился — дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял: в лоб завод не возьмем, на самоходки дуrolомом попрешь — всем братская могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы, иначе всем

похоронки!» И — как угадал в этом соображении. Повезло. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в овраг слева от завода, а в овраге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голосу орем чего-то, задыхаемся, бежим по железному хламу, как сквозь колючую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повыколем. А завод — вот он, на горе виден, метров сто пятьдесят. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, об железо в клочья вкось и поперек разодрано, — и все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать. Помню: пылица в каком-то цехе, спереди немцы из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылицу. Бегу, точно бы вконец обезумелый, строчу из автомата по пулеметчику, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю что. И тут накрыло темнотой меня, будто на голову крыша обвалилась... Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак живой, тело, руки, ноги при мне, на глазах — повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: погоди, мол, контузило тебя и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся. Волнуйся, не волнуйся, месячишко поремонтировали — и опять «вперед»...



В ОКРУЖЕНИИ

Рассказ лейтенанта

— Всю ночь песни и крики какие-то слышны были, аккордеон играл, вроде свадьба у немецев. Утром три фигуры появляются у них на бруствере: две женщины, а посерединке офицер немецкий. В бинокль вижу: одна чернявая, грудастая, другая — беленькая, с косами, как девочка. И офицер бледный, но улыбается, а графин со шнапсом или самогоном в руке держит. Чернявая виляет бедрами, обняла беленькую, кричит таким звонким голосом: «Не стреляйте, нас послушайте. Мы под большевиками корочку хлеба только имели, а теперь при германцах живем хорошо, водку пьем и вам предлагаем!» И указывает на графин в руках офицера. Мой политрук шепчет: «Срежем фрица, а лейтенант?» А у нас две снайперские винтовки, у меня в командирском окопе. «Нет, — говорю, — немца успеешь, никуда не уйдет. Баб-предательниц. Я левую, ты правую». А чернявая кричит: «Переходите к нам, мы вас в чине повысим, любить будем и командовать дадим!» Я взял в прицел ее. Вижу — смеется, а сама волнуется, тискает за плечо беленькую, а та прижалась к ней, ровно к защите. «Огонь по сволочам ба-

бам!» — команду. Я черненькую снял. Так и повалилась. Политрук беленькую. Офицер повернулся и бежать. Я его возле самой траншеи настиг.

...Сто пятьдесят человек в моей роте было двадцать пять пулеметов, шесть командиров и медик-лейтенант. Обрато к своим только один командир взвода вырвался и трое солдат, со мной — пять. В сорок четвертом под Яссами командовал я отдельной штрафной ротой. Помимо наших орудий, шесть батарей немецких. Раз попробовали у меня отобрать пушки немецкие, как по уставу лишние. Я говорю: «Не вы мне трофеи дали, я их в бою кровью отбил. Их же снарядами крошить зверей буду». В общем, что-то со мной случилось после непонятных тех баб. И тогда в сорок первом, когда прорывались мы ночью, бежал я по разбитой дороге в лесу, за мной бойцов четверо, бегу, стреляю, плачу, а сам думаю:

«До нас, чертей, миллионы людей умирали. Не мы первые, не мы последние. Только кто же те бабы? Силой иль пряником их немцы заставили? Или как? Может, не виноваты они?..»



ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Мы ждали своих ребят из поиска.

Никогда не забуду ее тонкое лицо, склоненное над рацией, и тот блиндаж начальника штаба дивизиона, озаренный двумя керосиновыми лампами, бурно kloкочущим пламенем из раскрытой дверцы железной печки: по блиндажу, чудилось, ходили теплые волны домашнего покоя, обжитого на короткий срок уюта. Вверху, над накатами, — звезды, тишина, вымерзшее пространство декабрьской ночи, ни одного выстрела, везде извечная успокоенность сонного человеческого часа. А здесь, под накатами, молча лежали мы на нарах, и, засыпая, сквозь дремотную паутинку, я с мучительным наслаждением видел какое-то белое сияние вокруг ее коротко подстриженных, по-детски золотистых волос.

Они, разведчики, вернулись на рассвете, когда все в блиндаже уже спали, обогретые

печью, успокоенные затишьем, — вдруг звонко и резко заскрипел снег в траншее, раздался за дверью всполошенный оклик часового, послышались голоса, смех, хлопанье рукавицами.

Когда в блиндаж вместе с морозным паром весело ввалились, затопали валенками двое рослых разведчиков, с накаленно-багровыми лицами, с густо заиндевевшими бровями, обдав студеным холодом маскхалатов, когда ввели трех немецв-языков в зимних каскетках с меховыми наушниками, в седых от инея длинных шинелях, когда сонный блиндаж шумно наполнился топотом ног, шушшанием мерзлой одежды, дыханием людей, наших и пленных, одинаково прозябших в пространстве декабрьских полей, я вдруг увидел, как она, радистка Верочка, медленно, будто в оцепеняющем ужасе, встала возле своей рации, опираясь рукой на снарядный ящик, увидел, как один из пленных, высо-

кий, красивый, оскалив в заискивающей улыбке молодые чистые зубы, поднял и опустил плечи, поехал, вроде бы желая погреться в тепле, и тогда Верочка странно дрогнула лицом, светлые волосы от резкого движения головы мотнулись над сдвинутыми бровями, и, бледнея, кусая губы, она шагнула к пленным, как в обморочной замедленности расстегивая на боку маленькую кобуру трофейного «Вальтера».

Потом немцы закричали заячьими голосами, и тот, высокий, инстинктивно защищаясь, суматошно откачнулся с широко разъятыми предсмертным страхом глазами.

И тут же она, страдальчески прищурясь, выстрелила и, вся дрожа, запрокинув голову, упала на земляной пол блиндажа, стала кататься по земле, истерически плача, дергаясь, вскрикивая, обеими руками охватив горло, точно в удушье.

До этой ночи мы все безуспешно добивались ее любви.

Тоненькая, синеглазая, она предстала в тот миг перед нами совсем в другом облике, беспо-

щадно разрушающем прежнее — нечто слабое, загадочное в ней, что на войне так влечет всегда мужчину к женщине.

Пленного немца она ранила смертельно. Он умер в госпитале.

Но после того наша общая влюбленность мальчишек сменилась чувством брезгливой жалости, и мне казалось, что неммыслимо теперь представить, как можно было (даже в воображении) целовать эту обманчиво непорочную Верочку, на наших глазах сделавшую то, что не дано природой женщине.

Никто не знал, что в сорок втором году в окружении под Харьковом она попала в плен, ее изнасиловали четверо немецких солдат, надругались над ней — и отпустили, унижительно подарив свободу.

Ненавистью и мщением она утверждала справедливость, а мы, в той священной войне убивавшие с чистой совестью, не могли простить ее за то, что выстрелом в немца она убила в себе наивную слабость, нежность и чистоту, этот идеал женственности, который так нужен был нам тогда.



РЕСТАВРАТОР

— Ты говоришь, в жизни все склеишь? Не все, друг, не-ет! Был у меня знакомый, великий реставратор Коля Лошадкин. Мог склеить и волосок курчавый на хвосте у черта, даже скорлупу голубинового яйца соединял, трещинки не обнаружишь, — такие, брат, золотые руки, серебряная голова. А однажды приходит ко мне пьяный, шибко под булдой, можно сказать, приходит, прямо в пальто и галошах садится в кух-

не на табуретку, гляжу: а он чего-то шапкой лысину трет, а сам на пол слезу роняет. «Что, Коля?» — спрашиваю и очень удивляюсь я его такой нетрезвости, потому что абсолютно непьющий он до неприличия. «Не все, товарищ мой сердечный, склеить можно, — отвечает Коля и хлюпает, хлюпает, — развелся я с женой, дубина я такая балбесовая...»



СНЫ

МОРЯЧОК

Грузовая машина беззвучно въезжала под низкий туннельно-черный железный мост, врезанный в насыпь на окраине темного города: и слева вдоль насыпи бежал к этой машине с вин-

товкой за плечом морячок в черном бушлате, без отчетливо видимого лица, только рот открыт криком, а форма была новенькая, широкие клеши, блестящие металлические

пуговицы; пулеметные ленты опоясывали грудь крест-накрест, и во всей фигуре, в движениях его была счастливая одержимость.

— Вставай! Ты уже спишь два часа!..

Его легонько потрясли за плечо, и он очнулся на мгновение, еще ничего не понимая. Он лежал, открыв глаза; вокруг — его комната, полки с книгами, день к вечеру, солнце перед закатом розово освещало девятиэтажный дом напротив. Жена стояла около тахты и трогала его за плечо.

— Вставай же! Тебе пора...

«Да, нужно встать, сейчас я встану, — подумал он. — Я устал и лег после обеда... Но откуда тот морячок семнадцатого года в городе?.. Сел он или не сел в машину?»

Он теперь понимал, что ему снился сон, что это нереальность, которая сейчас же исчезнет из сознания, едва лишь он стряхнет сонное оцепенение, встанет, но ему непреодолимо хотелось узнать, что будет с морячком, — и снова его окунуло в дремоту, в сладостное забытие, и все вернулось к нему: опять точно так же грузовая машина въезжала под мост, врезанный в насыпь, опять бежал к грузовику одержимый морячок в новом бушлате, опоясанный крест-накрест лентами...

— Вставай же, господи, ты не будешь спать ночи! Ты просил разбудить...

Он чувствовал: это голос жены, и там, где ее голос, — комната, за ней мягкое солнечное освещение на стене девятиэтажного дома, залитой ровным предзакатным огнем, — все это было рядом, возле него, поэтому казалось раздражающе привычным, знакомым — и комната, и книги, и голос жены, и эти пылающие стекла в окнах соседнего дома.

Весь расслабленный сном, он сидел на тахте, открыв глаза, быстро говорил: «Сейчас, сейчас», — но все с той же силой его тянуло туда, в легкую и сладкую загадочность сна, в какое-то бестелесное движение, где морячок бежал к машине, а он должен был узнать, что будет дальше, и это ожидание приносило ему непроходящее удовольствие.

«Странно... — подумал он. — Я ощущаю этот сон и одновременно ощущаю комнату, и голос жены, и время перед вечером, но то, что во сне, дает мне какое-то непередаваемое наслаждение счастья, покоя, забвения, и не хочется просыпаться, и я думаю и понимаю, что это сон, что нужно вставать, — и не могу, не хочу проснуться. Что же мне приснилось: то время, в котором я никогда не жил?»

ФРАЗА

Видимо, потому, что пришлось отказаться от правки в верстке (перелив абзацев, вследствие этого возможное опоздание журнального номера), мне каждую ночь снится, будто я правлю и никак не могу выправить ее до конца.

Странное дело — передо мной до ясности четко появляется и исчезает одна и та же гибкая сложная фраза, с периодами, с деепричастными оборотами, однако с явным и неуловимым изъясном в построении, в мысли ее.

Эта фраза, отчетливо видимая мною на левой полосе верстки, мучительно повторяется в моем сонном сознании — и я правлю ее с беспокоеством одержимости, переставляю слова,

вычеркиваю, ищу синонимы, меняю знаки, но неточно, не достигая совершенства, не испытывая удовлетворения, и неисправленная фраза вновь возникает перед глазами, как механическое и повторяющееся наказание.

Я просыпаюсь в состоянии изнурительного бессилия и пытаюсь подробно и детально восстановить по памяти, воспроизвести эту фразу, долгую мою пытку.

Но — не могу ее вспомнить... Такой фразы, которая выпукло видна была во сне, нет в романе. Ее создало продолжающее работу мое неуспокоенное воображение, создало — и мучает меня в забытии уже не первую ночь.

ЧАСЫ

— ...В пять проснулся, тихо в комнате, светло, луна против окошка светит, жена еще спит. Туда-сюда повертелся, опять лег — и тут снова такой сон непонятный в голову полз... Ну, надоел, понимаешь ты, этот сон. Будто на работу я пришел, как и полагается, к семи часам, все нормально, а уже в цехе пощупал кар-

маны, глядь — часы и деньги забыл в пальто. Пошел назад, а в раздевалке монтажники какие-то незнакомые. Смотрят на меня, понимаешь ты, и не узнают. И раздевалка вроде не наша. Уборщица и говорит: «Идем, покажу тебе раздевалку». И повела — через какие-то поля, леса. Ну, долго идем. Все незнакомое: лес тем-

ный, поля вечерние. Ни души нигде. Потом нашли часы на дороге. Поднял я их и опять в грязь уронил. Жалею, циферблат вытираю. Потом назад идем. А навстречу — рабочий знакомый. Я ему: так и так, мол, часы искал. А он:

ничего, в ночную смену пойдешь. Ну, до того, понимаешь ты, надоел этот сон, сам во сне чувствую, что надоел, а проснуться не могу. Вытираю циферблат, поднес часы к уху: идут. Во сне слышу, что идут. Надоел сон!

ОНА ПРИСНИЛАСЬ

Рассказ режиссера

Она приснилась мне в белом, словно бы в подвенечном, платье, какие никто тогда не носил. Она стояла, прямая, смертно-бледная, с опущенными глазами, тени ресниц были видны на щеках. Я чувствовал ее рядом с собой посреди московского двора, а вокруг суетились, бегали какие-то испуганные люди, безголосо кричали, задирали головы к ночному небу — низко над крышами партиями шли, возникающая из зарева, черные бревнообразные самолеты.

Я знал, что бомбоубежище в другом конце двора, метрах же в пяти справа, за тамбуром, была каменная лестница в подвальчик, там до войны держали дрова — дверь, обитая войлоком, темнота, запах плесенной сырости, — и я тянул ее за руку не к бомбоубежищу, но к этим чернеющим ступеням вниз, тянул не с мыслью спасения или чувством ужаса перед бомбежкой, а с таким неистовым молодым желанием страсти обнимать, целовать ее в темноте подвальчика, скрывшись от людей, от их животного страха, неприятного и непонятного мне. Только одно я испытывал тогда — ощущать ее губы, ее грудь, крепко обтянутую скользкой шелковистой материей платья, я так вожаделенно хотел быть с ней вдвоем, так хотел ее прохладной молчаливой близости, что сердце оглушающим колоколом ударяло в висках.

Где мы познакомились — не знаю, не помню... За ее бледное лицо, неумело-робкое дви-

жение ее губ, когда она отвечала на мои поцелуи, я мог бы отдать жизнь — родниковый холодок ее рта не утолял меня, я был подобен изнеможенному зноем несчастному, который случайно и жадно испробовал вкус ключевой воды — и не напился...

И четко я помню: в том сумеречном, освещенном заревом дворе, среди мечущихся людей, она стояла чистая, как январский ледок, вся скорбная, и почему-то не шла со мной в близкий подвальчик, где я представлял ее уже в объятиях и ощущал влагу ее губ, ее зубов, эту сжигающую муку неутоленной жажды.

Вот и все.

И еще помню, с каким горьким, раздирающим душу чувством, одиноко проснулся я в своей неприятной постели холостяка и впервые за много лет едва не закричал от тоски. В моей длительной и непростой биографии были женщины, которых я любил, наверное. Но кто была та?.. Чье лицо? Нет, у нее не было определенных черт лица, я не помнил их, только что-то смутное, овальное, бледное...

Видимо, во сне это была тень женщины или идеал женщины, и лишь ее одну я должен был когда-то встретить в мире и полюбить, но не встретил, так в общем-то никчемно и пусто вато прожив без нее целую жизнь.

И все-таки почему Москва, бомбейка, зарево? И почему она в немыслимо белом и длинном платье? Кто это нам может объяснить?

ПОСЛАНЕЦ

Хмельной после банкета, я бежал по улице провинциального городка с грязными одноэтажными домами, бежал торопясь, задыхаясь, в отчаянии чувствуя, что опаздываю на поезд: оставалось несколько минут до его отхода, а еще надо было собрать чемодан, уложить вещи (какие вещи, почему уложить?), взять у кого-то билет, уже купленный для меня...

А из ворот на улицу беззвучно выезжали покрытые рогожей, обляпанные грязью подводы, и возле ближней подворотни стоял ко мне спиной человек в нелепо широком темном пла-

ще, напоминавшем сложенные на плечах крылья, и распоряжался отъездом подвод, жестами командовал возницам, мужичкам с острыми бедунов глазами.

Я обрадовался несказанно, встретив этого широкоспинного человека, — да, да, ведь у него должен быть мой билет на поезд, ведь прежде этот человек был хорошо знаком мне: когда-то вместе с ним ездили мы очень далеко за границу... Я остановился посреди мостовой, переводя дыхание, он тотчас повернулся, но, оказывается, лица у него определенного не было, а было не-

что такое, что сообщало ясно: действительно, у него билеты, он знает номер вагона и мое место в поезде.

Но кто он?

И не в силах вспомнить его знаменитое имя, я крикнул ему, что бегу за вещами в другой конец города, поэтому опаздываю на поезд (он ничего не ответил), и стал просить свой билет, умолять хотя бы сообщить номер вагона и место (ответа тоже не последовало), и, изумленный чудовищной его немотой, я бросился опять вверх по улице, по осенней грязи.

Не ведаю, где я укладывал чемодан — номер ли был это гостиницы, комната ли в частной квартире, помню лишь, как среди множества кучек скомканных на столе, на полу бумажек собирал разбросанные вещи, лихорадочно затискивал их в до отказа набитый чемодан. Он был переполнен, а я все время что-то забывал и отыскивал забытые мелочи в рассыпанных по комнате бумажных комках, в который раз открывая безобразно раздутый чемодан, одновременно с пьяным ужасом думая, что опоздал окончательно — секунды остались до отхода поезда. Но тупая сила заставляла меня суматошно искать, с хаотичным упрямством шарить в кучах бумажек, и вновь распаковывать чемодан, и вновь закрывать его, и вновь открывать.

Что я забывал? Какие вещи? Не могу вспомнить никак. В сознание врезалось только вот что. Когда с чемоданом неподъемно-чугунным и вроде бы невесомым добежал я, вконец истер-

занный, потный, запыхавшийся, до вокзала, перрон был совершенно пуст. Вокруг ни живой души. А поезд отходил, и все двери вагонов были намертво заперты. Тогда в растерянности я увидел единственного человека, который вдруг появился в красной фуражке и, раскрывлив черные полы плаща, спрыгнул с платформы на освобожденные рельсы, где только что двигался поезд. Человек в плаще перешагнул через стрелку, потом обернулся и совсем уж равнодушно помахал свернутым флажком то ли мне, то ли кому-то невидимому за моей спиной, подтверждая конец отправки. И здесь на вымершем перроне, пораженный безмолвием вокзала, я отчетливо вспомнил фамилию и профессию этого известного человека, с которым мы когда-то вместе ездили за границу. Так неужели именно он недавно стоял в подворотне ко мне спиной, неужели у него были мои билеты и он был назначен распоряжаться отъездом, а теперь, ступив на пустой путь, подавал знак отсюда, посланец времени?

Этого человека я знал в живых. Он умер лет десять назад.

И утром, спрашивая себя, почему он явился мне во сне, стараясь по порядку воспроизвести собственные замедленные действия в той необъяснимой нелепости спешки, я вдруг покрылся холодным потом от внезапной мысли, пронзившей меня.

Что все это означало: мой срок еще не настал и номер вагона, номер места еще неизвестен на конечной станции?..

У КАССЫ

В длинной очереди я подходил к железнодорожной кассе, а сзади теснили меня, наваливались, дышали в затылок. Потом возникло за стеклом у электрической лампочки белое узкое лицо с козлиной бородкой, оно, это лицо, что-то говорило мне, я же не мог разобрать ни слова, потому что оглох (наверно, это сказывалась моя артиллерийская глухота после войны), и, весь неудобно искособочась под напором очереди, нагибался, прикивал ухом к окошку кассы, но по-прежнему не слышал его голоса.

В бессилии я кричал, ругался, негодовал, однако он ничего не понял из моих слов, а я не понял его. Затем сильным ударом в бок меня оттолкнули от кассы, и грубые суетливые спины темно задвигались, закачались, сомкнулись, стеной загородив кассира и свет из застекленного окошечка.

Этот сон, подобно продолжению, снился мне дня через два после первого сна, и опять утром я подумал с надеждой: билет на поезд мне не дали, ибо рано еще уезжать...

ОБМАН

Появилась перед моими глазами старая наша квартира в деревянном доме глубинного Замокворечья, комната в сумерках, и она, уже седая, оплывшая, сидела за обеденным столом. И, полуобернувшись к нам, уперев одну руку в жирное бедро и нелепо жестикулируя другой,

внушительно говорила о том, что решила обручиться с красивеньким студентом Петей (хорошо помню это имя), образованным, непьющим, на сорок лет моложе... А мы с женой слушали это сообщение покорно, согласно, но тошнотное чувство вязкой муки сдавливало мое сердце.

Сразу не мог понять, почему так нехорошо, так душно было дышать... И неожиданно осознал: вот оно случилось или случается сейчас, что-то противоестественное, страшное, чего быть никак не может. Она мертва, она раньше времени ушла из жизни, устав от земного существования, и, стало быть, невозможен, немислим этот брак с тихим красивеньким Петей — разве могут мертвые выдавать себя за живых?

Моя жена, бледная, худенькая, подобная девочке, полулежала на диване возле оконца, задернутого белой занавеской, восторженно глядя на ее нелепые жесты, на движения рук над обеденным столом, и тогда я ужаснулся: зачем она лжет моей жене, доказывая, что отлично себя чувствует, поэтому хочет любить

Петю, в то время как ее, этой старой женщины, нет на свете? Ведь я хорошо помнил, как в загородном морге я помогал санитару, угрюмому, небритому, перекалывать покойную со стола в гроб, помню, какими какими каменными были икры ее коротких ног.

Я бросился к жене, поднял ее с дивана, отвел в угол комнаты, вмиг осветившейся белым электричеством, стал говорить, что происходит нелепица, дьявольщина, сумасшествие...

И она, поняв меня, беззвучно рыдая, затряслась вся, обливаясь слезами, закидывая назад голову, и, рыдая, засовывала кончики длинных пальцев в рот, будто мерзли руки от страха, от понимания противоестественного, безумного...

ПОГОНЯ

Мы шли по темному ночному проселку среди молчаливых осенних полей, моя жена держала меня за руку, и я не видел ее во тьме, но чувствовал, как легонько ступали ее босые ноги в мягкой пыли.

Было так тихо, так сиротливо в непроницаемой ночи, что чудилось: остались мы одни на давно вымершей пустынной земле.

Когда позади возник шум мотора, я оглянулся и увидел очень далеко, впотьмах равнины, огни фар — одинокая грузовая машина двигалась по проселку, с сумасшедшей скоростью догоняла нас, и уже через минуту желтые лезвия фар уперлись нам в спины, уродливо взметнулись наши громадные тени впереди на дороге, и мы в тот же миг едва успели отскочить за кювет. Машина с грохотом пронеслась мимо, огромная, тяжелая, черная, похожая на железное разъяренное чудовище. Мы ошеломленно смотрели ей вслед, переводя дыхание, не понимая, откуда и куда она бешено мчалась, куда спешила. И вдруг я услышал приближающийся вой накаленного мотора, уже в состоянии предгибельного отчаяния выглянул из травы, и то, что увидел, сказало мне — вот

он, конец. Машина, подобно расшвырявшему кабану, поворачивала в поле, вонзая вокруг себя клыки света, с дикой поспешностью развернулась и вновь беспощадно, озлобленно, хищно помчалась на нас, как если бы чуяла и знала, что мы еще живы.

С последним усилием я сцепил пальцами хрупкую кисть своей жены и, не выпуская ее, пополз неизвестно куда, во тьму, оглушенный бешеным лязгом, грохотом, рычаньем этой ненавистной мощи. Я полз, считал секунды и проклинал себя за беспечность, за жалкую беспомощность — где мои родные противотанковые орудия, где хотя бы одна граната? — и обезоруженность испытывалась тем страшнее, что в руке моей стиснута была влажная ладошка жены, единственной женщины, которую я любил безумно.

Так и остался в моей памяти этот сон: чудовищно огромный грузовик в осенней ночи и я и жена то ползем, то бежим по полю жизни, пытаюсь спастись от какой-то злобно-неустанной, наступающей мстительной силы.

Не каждого ли человека мучило подобное сновидение?

ВОЗЛЕ ДОРОГИ

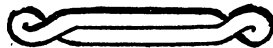
Она сидела на бревнах, такая молодая, деревенская, светловолосая, что я сразу подумал, еще не узнав ее: «Это могло быть в двадцатых годах где-то в России».

Вокруг был чистейший песок, тень падала от каменного дома, единственного возле дороги, среди этого белого речного песка с островками травы, прохладных лопухов, и она,

босоногая деревенская красавица, сидя на бревнах, напротив дома, жмурясь под жарким солнцем, игриво окликнула меня по имени, в то время как я, глядя издали на ее знакомое улыбающееся лицо, полузакрытое челкой почти белых волос, никак не мог вспомнить, кто же она, как ее звать, в каких отношениях были мы с ней... А когда, просыпаясь, вспом-

нил другое лицо, запрокинутое, желтое, уже потустороннее, с кругло открытым ртом, стало страшно от сопоставления этих двух лиц одной женщины, которую я никогда не видел в жизни молодой, но увидел впервые во сне так

отчетливо ясно, как будто радостно ждал встречи с ней в двадцатых годах на той песчаной дороге близ одинокого дома посреди нагретого полевого пространства.



РАССКАЗ БАЛЕРИНЫ

В двадцатых годах была знаменита, половину жизни прожила в Париже. Вот что она рассказала однажды, когда мы шли с ней мимо православного собора Александра Невского:

— Мне снилось, что меня отпевали в этой церкви, а гроб был возложен так высоко, будто висел неподвижно под самым куполом, и нарисованный лик, спасителя, огромный, скорбный, был наклонен над самым моим лицом. Его темные страдающие глаза смотрели вниз, а оттуда, снизу, шло жаркое потрескивание свечей, раздавался голос священника, и среди знакомых и родных стоял в слезах мой опечаленный муж. Но этот трепет горячих бликов, множество свечных огоньков поблизости от гроба, на алтаре, возле икон, в дальних углах храма окружали меня, веяло по лицу теплым райским дуновением, и церковный хор звуками ангельских голосов уносил мое тело в какую-то непостижимую благодать, обещал вечное блаженство, которое было похоже на сладкую муку, на мгновения любви, и я, находясь вблизи с озаренным теплыми ответами ликом спасителя, лежа в окружении мягко мерцающих свечей, в запахе тающего воска,

таинственных благовоний, думала: «Как это прекрасно! Они плачут по мне, но не знают, как это прекрасно быть здесь, под куполом, за которым летняя ночь, звезды, лежать здесь наверху, слышать эти звуки прощания со мной».

Нет, я никогда не ощущала такого упоения красотой, покоем наслаждения, разлитого в звуках, запахе, свете моего прощального часа со всем миром, с моими друзьями, с моим мужем, ставшими маленькими, жалкими оттого, что они, живые, не знали подобного состояния.

Но сквозь это блаженство вдруг пробилась в сознание леденящая мысль: «Как я могу думать, сравнивать, чувствовать, если меня уже нет?» — и в ужасе мне захотелось горько плакать от жалости ко всем, кого я оставила, особенно мужа, детей...

Я проснулась и долго лежала, глядя на ранние солнечные блики на потолке. Боже мой, ведь самое высокое блаженство — это открыть глаза вот так, как я сейчас, солнечным, летним утром в своей комнате и с радостным удовольствием подумать, ощутив утренний ветерок из окна, затопленного зеленью: «Какое счастье, что я жива!»



«ПОЧЕМУ Я ПОЖАЛ ЕМУ РУКУ!»

Утром, бреясь перед зеркалом, с неожиданной неприязнью увидел бледность на лице, морщины под глазами, которые словно улыбались кому-то чересчур доброжелательно, и, кривясь, вспомнил, как вчера встретился в две-

рях лаборатории с молодым удачливым профессором, делающим необъяснимо быструю карьеру в науке. Карьера его не была определена особым умом или выдающимся талантом, однако он стремительно шел в гору, заццитил

кандидатскую, уже писал докторскую, поражая коллег-сверстников бойким продвижением и умением нравиться начальству.

Мы не любили друг друга, едва здоровались издали, наша нелюбовь была и в тот момент, когда столкнулись в дверях, но, увидев меня, он молниеносно заулыбался счастливой улыбкой, излучая энергию радости, горячего восхищения этой внезапностью встречи, и стиснул мне руку со словами:

— Очень, очень рад вас видеть, коллега! Только на днях прочитал вашу первоклассную статью об Антарктике и пожалел, что не работаю вместе над одной проблемой!

Я знал, что он лгал, ибо никакого дела ему не было до моей работы, и хотелось сухо ответить принятыми словами вежливости «благодарю», «спасибо», но я тоже заулыбался обрадованной улыбкой, затряс его руку так продолжительно, так долго, что показалось — его испуганные пальцы в какой-то миг попытались вывинтиться из моих пальцев, а я, трясая ему руку, говорил совсем ошарашенно:

— Я слышал, начали докторскую? Что ж, это великолепно, не упускаете время, мне весьма нравится ваша серьезность, профессор!

Я не знал, что со мной происходит, я говорил приятно-льстивые фразы вроде бы под диктовку и чувствовал, что улыбаюсь сахарнейшей улыбкой, ощущаемой даже лицевыми мускулами.

И это ощущение собственной собачьей улыбки, долгое трясение его руки и звук своего голоса преследовали меня целый день — о, как потом я морщился, скрипел зубами, ругая всеми словами, проклиная некоего второго человека внутри себя, кто в некоторых обстоятельствах бывал сильнее разума и воли.

Что это было? Самозащита? Благоразумие? Инстинкт раба? Молодой профессор не был талантливее, не был умнее меня, кроме того, занимал положение в институте, зависимое от исследований моей лаборатории, а она насколько не зависела от его работы. Но почему с таким сладострастным упоением я тряс руку этому карьеристу и говорил приятные фальшивые слова?

Утром, во время бритья разглядывая свое лицо, вдруг испытал приступ бешенства против этого близкого и ненавистного человека в зеркале, способного притворяться, льстить, малодушничать, как будто надеялся прожить две жизни и у всех проходных дверей обезопасить весь срок земной.



СОСЕДИ

Два старичка пенсионера получили двухкомнатную квартиру в новом доме. Въехали в совпавший час, познакомились прямо на лестничной площадке, очень довольные: родных и близких нет, вдвоем не так скучно будет доживать закаты дни.

И решили после расстановки мебели отпраздновать по-стариковски новоселье: в ближнем гастрономе купили бутылку «краснень-

кого», минеральной воды, нехитрой закуски. Сели на кухне, еще пахнущей масляной краской, выпили по первой рюмке, по второй, пристальной вгляделись друг в друга, некоторое время помолчали онемело и вдруг оба заплакали.

Один был когда-то следователем, другой подследственным, затем осужденным на длительный срок.



ДАВНЕЕ ГАДАНИЕ

В молодости ей нагадали: она будет жить с мужем душа в душу, но долго не будет иметь детей, вскоре же после ее беременности муж умрет.

Она почувствовала признаки странного недомогания в сорок девять лет, мужу тогда было пятьдесят четыре. Ее подташнивало, появилась

по утрам жажда, тянуло к соленью. Она пошла к врачу, и тот подтвердил: да, несомненно, это беременность. И началось ужасное в ее жизни с мужем. Он часто говорил о будущем ребенке, а она в страхе смотрела на радостное его лицо, вспоминая давнее гадание, и неутешно плакала по ночам.



ЩЕНОК

Всю ночь без сна ворочался с боку на бок, подминал под голову горячую подушку, мычал, стискивая зубы, как от боли, — не мог забыть того, что случилось днем, не исчезало острое чувство совершенного преступления.

Было теплое солнце, яркий субботний мартовский день сиял в Москве, везде таял сразу почерневший снег, кое-где дымились парком сухие пролысины тротуаров, всюду зеркально блестели лужи на мостовых, шло много прохожих, одетых уже по-весеннему. В машине стало даже жарко, тесно от солнца, блестящего на переднем стекле, на капоте, и у него тоже было легкое, свободное ожидание того, что сейчас выедет из Москвы на подсохшее в полях шоссе и через сорок минут будет в загородном доме отдыха среди двоих своих детей и жены, которых отвез на каникулы неделю назад.

После шумного, шелестящего шинами перекрестка свернул на тихую параллельную проспекту дорожку, не торопясь поехал по солнечным лужам, объезжая расколотые дворниками глыбы желтого льда, мимо заляпанных грязью киосков с ослепительным сверканием витринных стекол, мимо идущих по тротуару людей в расстегнутых плащах.

Впереди на солнцепеке у обочины увидел поддомкраченную машину; человек, без пальто, без шапки, в сером пиджаке, возился подле колеса, отвинчивая ключом гайки, и он подумал опять с удовольствием: «Действительно, настоящая весна».

И едва успел подумать это, заметил вывернувшегося левее поддомкраченной машины щенка: он выскочил из-под ног склоненного

к колесу человека, темно-коричневый, с острой веселой мордой, и бросился играющими прыжками, как-то боком навстречу его машине.

Скорость была небольшой, он мгновенно нажал на тормоза, но все-таки не сумел сразу затормозить. Машину катило по льду, и в ту же секунду щенок игриво залаял, затряс смешными ушами, мелькнул под радиатором, и затем послышались внизу какие-то удары, потом как будто машина проехала по чему-то твердому, ее, показалось, чуть подняло даже — и он, весь в горячем поту, наконец остановил машину, ужасаясь тому, что ощутил сейчас.

Еще не отпуская тормоз, он оглянулся и с тем же ужасом увидел щенка уже возле человека в сером пиджаке — щенок, мотаясь всем телом, будто жалуясь, прося прощения, взвизгивал, искательно тыкался острой мордой в руки хозяина.

А он смотрел, точно скованный, на человека в пиджаке, растерянно опустившегося перед щенком на корточки, и сознавал, что совершил сейчас нечто непоправимо преступное, как убийство.

Он ясно чувствовал эти удары под машиной и понимал, что щенок в горячке еще двигается, как бы извиняясь за ошибку, тычется мордой в руки хозяина, лижет его пальцы, а человек в пиджаке еще не знает, как ощутимо и страшно минуту назад качнуло машину на чем-то твердом.

Потом человек в пиджаке взял щенка на руки и, все продолжая гладить его длинные уши, трепать его голову, испачканную мокрой грязью, повернул бледное лицо,

— Какой вы шофер, если не можете остановить машину? — с упреком сказал человек. — Это же глупый щенок...

Уже на тротуаре и вокруг человека с тихо постукивающим щенком на его руках столпились люди, зло крича; кто-то постучал кулаком по капоту с тем знакомым выражением неприязни пешехода к водителю, какое всегда бывает во время уличных катастроф, — и он, жгуче презирая себя за инстинктивный толчок самозащиты, сдавленным голосом выговорил:

— А вы... зачем отпускаете его на дорогу?..

Он плохо помнил, как выехал из Москвы на загородное шоссе, все словно подсеклось, срезалось в нем, и было до тошноты мерзко, гадко на душе от той защитительной своей фразы, звучавшей в ушах: «А вы зачем отпускаете его на дорогу?»

И, глядя на дорогу, он опять с поразительной ясностью представлял щенка с острой ве-

селей мордой, когда тот, играя, смешно тряс ушами, бросился к машине, ощущал глухие удары под днищем, представив, как железо било его по голове, как в смертельном испуге за метался под колесами щенок, не понимая, что произошло, почему на его игру с этой чужой машиной ему ответили такой страшной болью.

«Я убил его... Это же он в горячке выскочил потом к хозяину. Как он мотал головой, как тыкался мордой в его руки, точно спасения искал!..» — думал он и стискивал зубы, морщась, уже не видя ни шоссе, ни талого снега, ни мокрых мартовских полей под прекрасным весенним солнцем.

Через час, приехав в дом отдыха, он не поцеловал жену, не поцеловал детей, будто потерял на это право, только долго и пристально смотрел на свою пятилетнюю дочь, взяв ее на руки, прижимая ее к себе.



ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

В Новый год она остановилась в фойе перед зеркалом и там, в отраженном блеске огней, люстр, нарядных женщин, показалась самой себе такой заурядной, некрасивой, простенькой, что испуганно оглянулась на него и, бледнея, проговорила быстро:

— Уйдем отсюда, скорее уйдем!..

Он понял, о чем она думала, поцеловал ее в висок, сказал ласковым голосом:

— Ты смотрела на себя глазами чужой зависти.

И она вдруг облегченно опустила руки, улыбнулась ему с покорной благодарностью:

— Спасибо, ты меня все-таки любишь.



«НЕ НАДО ОСТАНАВЛИВАТЬ МАШИНУ»

Рассказ моего друга

В воскресный июльский вечер возвращались с дачи, ехали по шоссе в цепочке машин, смотрели на дальние небоскребы Москвы. Вся окрестность светилась жаркими угольями в стеклах новых домов; они вырастали по горизонту как бы прямоугольно-зловещими марсианскими памятниками в безмолвном геометрическом про-

странстве. И почему-то чудилось мне, что наша машина скоро въедет в некий город, залитый закатным светом на незнакомой таинственной планете.

Но вдруг что-то постороннее толкнулось в зрачки, и, еще не сообразив, что раздражающе помешало мне сейчас, я повернул голову и тот-

час увидел справа машину, отблескивающие вишневым лаком «Жигули», стоявшие на обочине вблизи молодой березовой посадки, нежно розовеющей тонкими стволами. Такой же теплый алый свет был внутри машины, за плотно закрытыми стеклами, и на спокойном лице водителя, положившего руку с сигаретой на руль, на его полных щеках, казавшихся еще более круглыми, сытыми от толстых усов. И тут я только понял, что внезапно привлекло мое внимание к этой одинокой у обочины машине.

Там, в машине, били женщину. Я не разобрал четко лица людей, я лишь увидел, что мужчина стоял на коленях на переднем сиденье рядом с водителем и, повернувшись назад, резко наклоняясь, двумя руками, как кот лапами, бил по лицу женщину, а она, тряся льняными волосами, пыталась сжаться в комок, беззвучно крича, откидываясь спиной и затылком на спинку заднего сиденья. Она пыталась защититься даже поднятыми коленями, судорожно, дрожаще двигая ими перед собой, отчего задралась короткая юбка, а другая женщина, темноволосая, худая, вытянув свой острый профиль, перекосив губы, сбоку злобно толкала вниз, отгибала эти оголенные ее колени, помогая мужчине достать кулаками лицо избиваемой.

Я сцепил зубы и, не отдавая себе отчета в том, что сделаю или могу сделать в следующую секунду при виде этой новой изощренной

расправы за стеклами автомобиля, повернул к обочине, где в форме машинного блага стояла эта современная камера пыток, и сейчас же услышал сердито предупреждающий голос жены, сидевшей около меня:

— Я тебя прошу — не надо останавливать машину!

— Это невыносимо! Ты посмотри, что они делают с женщиной!

— Вижу. Но, может быть, она сама ужасно виновата.

Лицо жены, привыкшее к гриму, было бледно, как бывало всегда после спектакля, после умывания в артистической, и я вдруг впервые увидел две незнакомо остренькие морщинки, не тронутые тоном, возле ее накрашенных губ, колечком захвативших сигарету.

Она не сказала больше ни слова. Она курила, выпуская дым к ветровому стеклу, и задумчиво сбивала пепел длинным розовым ноготком.

Я тоже молчал, изредка, осторожно косясь на жену, ибо любил и ревновал ее без памяти, независимо от двадцати прожитых вместе лет, и, пораженный; убитый этими двумя остренькими морщинками у ее губ, неожиданной загадочной фразой, думал, что все-таки она предала меня с кем-то или предаст в некий черный день, — и было мне страшно, как будто неподалеку усмехалась нам обоим одинокая старость.



НОЧНОЙ РАЗГОВОР

В конце спящего вагона было открыто окно, занавеска, подхваченная ветром, щелкала, стучала по стене, а он, сильно выпивший, стоял в коридоре на сквозняке, держал в одной руке куриную ножку, тер ею о пижаму, другой нелепо размахивал и кричал в лицо какому-то тусклому молодому человеку, покачивающемуся с каблучков на носки и уныло икающему:

— В-вы — молодежь, у вас энергии больше, у нас опыта! Ежели бы вместе соединить, не было бы з-заноз всяких! А то занозы в нашей жизни острые бывают! Она, заноза, организму до смерти повредить не может,

а боль приносит! Верно или нет, спрашиваю?

— Дядь Петь, не влезай в дрязги, нервы береги, по науке — и... все! Ты ку... курочку покушай.

А тот, краснолицый, уже сердито суживая щелочки глаз, тыкал куриной ножкой молодому человеку в грудь, с горячей досадой доказывал крикливо:

— Ни жрать, ни есть я не хочу! Я тебе об чем толкую? О философии. А ты об чем мне? О пузе. Есть разница или нет разницы?

Они вошли в свое купе, стукнула дверь, приглушила голоса.



ВЗГЛЯД

Я видел это на пригородной танцплощадке. Веселый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым отливом черных глаз, он пригласил ее танцевать с таким зверским жадным видом, что она испугалась даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом некрасивой девушки, которая не ожидала к себе внимания.

— Что вы, что вы!

— Раз-решите? — повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной улыбкой. — Мне будет оч-чень приятно.

Она оглянулась по сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы, сказала с запинкой.

— Наверно, у нас ничего не получится. Я плохо...

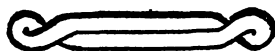
— Ничего. Пр-рошу. Как-нибудь.

Он танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на нее, она же топталась неумело, мотая юбкой, нацелив напряженные глаза ему в галстук и вдруг толчком вскинула голову — вокруг перестали танцевать, выходили из круга, послышался свист, за ними наблюдали, видимо, его приятели делали замечания с едкой насмешливостью,

передразнивали ее движения, трясясь и корчась от смеха.

Ее партнер каменно изображал городского кавалера, а она все поняла, всю непростительную низость красавца партнера, но не оттолкнула его, не выбежала из круга, только сняла руку с его плеча и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как обычно стучат в дверь. Он, удивленный, склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх медленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемо-презрительным выражением опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. Мне показалось, он переменялся в лице, потом отпустил ее и в замешательстве как-то чересчур вызывающе повел к колонне, где стояли ее подруги.

У нее были толстые губы, серые, большие, как бы погруженные в тень диковатые глаза. Да, она была бы некрасивой, если бы не темные длинные ресницы, почти желтые ржаные волосы и тот взгляд снизу вверх, преобразивший ее в красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти.



НА КРУГИ СВОЯ

Все было первозданно здесь — и запах увлажненной росой пыли, и навесы лопухов в кюветах проселков, наполовину засыпанных пухом одуванчиков, солнечная тишина полдня с треском кузнечиков в разморенных жарой травах, и гомон толстоносых грачей на закате, и чисто-снежное сияние кудрявых облаков в синем северном небе, и теплые утренние туманы, над которыми плавал красный щар солнца, — все это было так просторно, вольно и так овеивали счастьем налитые светом зари лесные озера, так сладостен был крик петухов на влажноватом рассвете, так манила утренняя тень на траве под избами, что оба они испытывали какое-то начало вдруг повторившейся своей жизни, чудодейственное возвращение юной влюбленности в этот радостный мир.

Когда же они остановились в деревне на целый день и, испытывая почти детское наслаждение, выкупались в реке с нежным названием

Камышинка, где вода, теплая, мягкая, прозрачная, ласкала тело и как сквозь толстое стекло показывала на песчаном дне зыбкую игру солнечных бликов и серебристое брызганье мальков по донным камням, когда переоделись, поллежали на лужайке и, свежие, бодрые, стали подыматься зеленым косогором в деревню по тропке, протоптанной вдоль зарослей малины, откуда тек запах нагретого за день сада, она сказала весело:

— Слава богу, это еще есть на свете. В Москве невозможно стало жить: шум, грохот, толчея, нечем дышать. Издерганные, раздраженные люди... Я хочу тебя поцеловать, милый. Спасибо за то, что ты привез меня сюда и показал свой детский рай.

— В последние годы мне Камышинка часто снилась. Я рад, что ты увидела такую воду хоть сейчас. Через двадцать лет после того, как мы поженились. Ты ведь любила Сочи, Крым...

— Я хотела бы здесь каждое лето жить. Если бы ты раньше не был несчастным скупцом и открыл бы людям свой благословенный край, где нет ни химии, ни заводов. Как дышитесь, ты чувствуешь? Какая здесь ласковая вода!.. И сколько рыбы — озера и реки просто кишат ею!

— Кстати, нас ждет уха. Мой дядя — заядлый рыболов.

— Я тебе сказала в первый день: ты не удержишься и тоже будешь мило окать, как и все. И вот, пожалуйста: ры-бо-лов. Как хорошо ты округлил «о». Знаешь, почему у вас окуают? Первое, что видит ребенок за порогом дома, это — озеро, «о» — в начале, «о» — в конце. Понимаешь — озеро?

— Ты милая моя, выдумщица...

— Знаешь, лучше жизни не выдумаешь. Я ведь родилась на Урале, а это так похоже.

— Пойдем. Нас ждет уха.

— Пойдем, пойдем, — сказала она со смехом, подражая ему в оканье, проявившемся в его речи.

Потом в саду, под яблонями, их угощали ухой, сваренной тут же на костре, в рыбацком ведерке; ели ее, обжигаяще горячую, деревянными ложками, а уха, как и тысячи лет назад, пахла костром, рекой, осокой, земной благодатью, и на этот древний запах человеческой сытости залетали к столу, осторожно звенели над тарелками полосатые осы, затем явились две заспанные кошки, сладострастно мурлыча, принялись тереться об ноги под скамьями, то и дело мерцая оттуда намекаяще прижмуренными глазами.

Напившись жаркого чая с медом и пышками, такими белыми, вкусными, домашними, что они таяли во рту, мужчины с удовольствием покурили, после чего гости через заднюю садовую калитку спустились, счастливо усталые, к берегу и здесь, в заливчике, посидели на полувытянутом из воды баркасе, оглядывая уже предзакатное небо с грядами перистых облаков, тихую реку с теми же облаками, тихую деревню, разбросанную на бугре, над луговой низиной, где косо вытягивались тени от круглых копен сена, напоенных за день солнцем, пахнувших к вечеру особенно приторно, томительно, и тут она опять сказала серьезно:

— Не понимаю одного — почему даже в этой деревне так много пустых и забытых домов? Судя по всему, здесь никогда плохо не жили...

— Большинство мужиков не вернулось с войны. Бабы остались... Но кое-кто и сейчас за бесценок продает свои дома и уезжает поближе к городским удобствам. Кстати, рядом с домом дяди продается пятистенок — просят всего пятьсот рублей.

— Что такое пятистенок?

— Огромный домина с пристроенной кухней.

— И так дешево?

— Совсем даром. Видишь, вон там, слева, дом с резными наличниками, за сосной?

— Слева? Да, да, вижу. Ведь это же целый дворец. И сад большой. И какие удивительные наличники, в самом деле!

— Такие наличники делают у нас сорок ден. Вернее, когда-то делали.

— Ты знаешь, я хочу сейчас же, немедленно посмотреть этот дом!

Минут через десять хозяйка пятистенного дома, старушка лет семидесяти, еще довольно бодрая, разговорчивая, весело как-то даже показала им чистенькие, обклеенные цветочными обоями комнаты с расстеленными половиками от порога до порога, с сохранившимися полатами, крепкими лавками, обширной русской печью, что выходила белыми своими боками на две комнаты и кухню, которая бросилась в глаза начищенным медным дореволюционным самоваром на покрытом клеенкой столе, роем густо жужжащих мух за желтыми занавесочками на низких окнах, заставленных геранью, — везде (несмотря на сухость дома) был плесенный запах старого дерева, какой издают выдвинутые ящики, открытое нутро древних буфетов в антикварных магазинах. Высушенные пучки каких-то лекарственных трав, развешанных на стенах, не перебивали этот неистребимый запах, ибо дом как бы впитал в себя весь деревенский дух столетних устоев, человеческого тепла, простой еды, нехитрых особенностей трудовой жизни.

Ее поразила беленькая чистота и этот неприятный въевшийся в воздух комнат запах чужого, не очень, видимо, опрятного в прошлом быта, где все когда-то было иным, до грубой ясности опрошенным, и с необъяснимым чувством жалости она посмотрела на старуху, когда та без сожаления, без вздоха попросила за дом «четыре с половиной сотельных окончательно», объяснив беспечальную причину такой продажи переездом к дочери в Ленинград: «мнучонка нянчить».

Торговаться было бы неприлично, бессовестно, старуха просто дарила свой дом, и оба, несколько смущенные, попросили ради серьезности дать им денек подумать — и вышли на улочку, в обдавший теплотой трав предвечерний воздух, еще золотисто-светлый после заката.

Они вновь безотчетно пошли к реке, а она, оглядываясь на дом, заросший садом, темно проступающий на горе среди красного неба, взволнованно говорила, что сама судьба помогает им жить здесь хотя бы месяц летом, в этом

краю милого детства, что ни минуты нельзя сомневаться, надо завтра же утром заплатить половину денег или полностью за дом и сразу решать, как мало-мальски оборудовать его с относительными удобствами (привозной газ, маленькая газовая плита), кроме того — сломать полаты, что нависают над столом и портят комнату, заменить обветшалую мебель, покрыть драночную крышу шифером; в общем, конечно, не так много хлопот и затрат, если сравнить с баснословной стоимостью дач под Москвой. Но уже следующим летом они могут приехать сюда, имея собственную крышу над головой, приехать в этот заповедный деревенский уголок, омолаживающий их души.

— Боже мой, так дешево купить возможность жить в русской Швейцарии, — говорила она по-прежнему взволнованно и улыбалась с нежностью, взяв его под руку. — Жить летом здесь в нашем возрасте — разве можно мечтать о каком-нибудь другом счастье? Только надо немножечко косметически подновить кое-что в доме. Ты знаешь, я привезла бы сюда старую тахту чешскую, и финские стулья с зеленой обивкой, и горку для посуды. Они уже давно мешают нам в квартире, а здесь — прекрасно.

— А как с погребом? Ты видела, какой замечательный?

— Ну, это необязательно. Погреб — несколько неудобно: лед, солома, весной вода, конечно. Холодильник непременно нужен. И водопровод... То есть холодная вода в кухне нужна. Как ты думаешь?

— Да, но отличный колодец возле дома. Я обещаю аккуратно носить тебе воду. По два ведра хрустальной колодезной. А будем умываться во дворе из железного ракушечника.

— Ракушечника с таким гремучим железным носиком? Великолепно, милый. Я тоже так считаю. И все-таки на кухне постоянно нужна вода, и можно сделать маленький водопроводик при помощи электронасоса. Мы с тобой видели его в хозяйственном магазине на Кутузовском.

— Хорошо, я согласен.

— Нет, нет, неужели за четыреста пятьдесят рублей она продаст нам этот чудесный дом? И неужели мы будем жить в нем летом?

И опять они говорили о немыслимой дешевизне дома, о том, как по своему вкусу оборудовать комнаты, сделать их уютнее, кухню удобнее, как привезти из Москвы лишнюю мебель и расставить ее здесь с учетом скромной дачи, а не городской квартиры, и их воображение рисовало тот радостный, облегчающий день, когда они войдут в отремонтированные комнаты, с выкрашенными полами, покрытыми вьетнамскими плетеными ковриками, с новыми занавесками на промытых окнах, с удобным холодильником и фаянсовой раковиной на кухне, войдут в этот собственный теперь дом, счастливо заменивший им дачу в шестистах километрах от Москвы, в удачно подаренный судьбой дворец, какого, наверное, ни у кого из знакомых завистливых градолюбцев не было и быть не могло.

Он с улыбкой смотрел на лицо жены, слышал ее голос, слышал то, что говорил сам, и очень ясно, до ощущения теплого уюта, представлял этот обновленный ими и приведенный в порядок большой дом, видел себя, и жену, и гостей в закатных сумерках за столом вокруг горячего пахучего самовара.

«Что это мы?» — вдруг подумал он, еще отчетливо не поняв в ту минуту причину исподволь вползшей в сознание колючей тревоги.

И, взглянув на розово-нежные по реке отсветы начавшегося в небе летнего вечера, на алеющие облака в покойных заводях меж зеркального отражения камышей, он сейчас почему-то не ощутил прежнего волнения от волшебной встречи с опять обретенной им детской первозданностью родных мест, как будто что-то притупилось в душе, неумолимо вытеснилось совсем иным, материально-весомым, предметным, подобно властному проклятию лукавой силы, подменяющей радость красоты всего естественного фальшивыми купонами.



БЕГСТВО

Конец мая, теплая южная ночь, цикады. Луна, низкая, душная, повисла за тополями над морем, и оранжевый конус протянулся до самого берега, светился в конце улочки, откуда

согретыми волнами накатывал запах цветущей возле заборов сирени.

— Вы чувствуете? — спросила она и остановилась, глаза блеснули выжидающе, весе-

ло. — Хотите, я вам рыб покажу? Они ведь не спят, кажется.

— Не уверен, — сказал он. — Впрочем, что ж... посмотрим рыб.

Когда сквозь кусты, по перечеркнутой пятнистыми тенями тропке они приблизились к водоему, там, в тихой ночной воде между зарослей кувшинок, плавала луна, и лягушка, вспугнутая шагами, шлепнулась в листья водорослей, и тотчас луна закачалась, дробясь и сверкая.

— Ой, — вскрикнула она с притворным ужасом и схватила его за рукав. — Жба!

— Может быть. А где же рыбы?

— А вон там! Не видите? Вон там их целое семейство, и большие и маленькие. По крайней мере, я их утром видела.

— Да, да, в самом деле, и большие и маленькие.

Он хотел поцеловать ее, но она чуть отклонилась и, не отпуская, держа его руку книзу, улыбаясь, молча смотрела ему в лицо своими смеющимися глазами.

— Да, да, в самом деле, вы их видели утром. Конечно.

Он привлек ее к себе, за спину, с ласковой усмешкой сильно обнял, и вдруг близкое лицо ее стало серьезным, губы перестали улыбаться, слабо шевельнулись протяжным вздохом; потом он услышал ее шепот:

— При чем здесь рыбы? Я не хочу...

Однако, самоуверенный, избалованный, он чувствовал: она ждала, чтобы он поцеловал ее, а это легкое сопротивление было лишь кокетливой попыткой разжечь его, продлить одурманивающие минуты перед сближением, которого они хотели оба.

Некоторое время стояли безмолвно, глядя в глаза друг другу, потом медленно пошли вдоль забора по мягкой теплой пыли, мимо темных хат с густыми навесами дикого винограда над двориками, с сухим и прохладным запахом садов, здесь, в сплошном треске цикад, выделялось горячее зудение комаров: она то и дело хлопала себя ладонью по голым локтям, по коленям, говорила, капризно смеясь:

— Боже, как они надоели! Почему они вас не кусают?

И он, ощущая какую-то радостную беспечность, веселое возбуждение, опять обнял ее, и опять она слегка отстранилась, сказала по-прежнему капризно:

— Не надо же. Мы испортим все.

— Почему?

— Мы можем случайно далеко зайти... Разве вы отрицаете детскую игру? Ну, например, пускать зеркалом зайчиков? Как это прекрасно

и невинно. Правда? Я не люблю грубую игру. А вы?

— Игру? — переспросил он. — Ах, да, да, ясно. То есть не совсем...

— Тогда пойдемте по жердочке через пропасть. Хотите? Так лучше. Когда вы балансируете над пропастью, холодком замирает сердце. И страшно, и чудесно. Согласны?

И они пошли по дороге, обдаваемые влажным, до обморока зябким запахом сирени, синевато белеющей над пыльными заборами в лунном свете, как туманные пятна в глубине фиолетового пространства вселенной.

— Я бы обняла этот куст, как сестру обняла. Чувствуете запах? — проговорила она шепотом. — Эта луна просто чародейка! Так хорошо под луной, что даже страшно! Я сейчас буду молиться, как монашенка перед каким-нибудь святым явлением. Я стану на колени.

— Монашенка? — Он усмехнулся добродушно. — Слушайте, вы мне голову заморочили черт-те чем. Я как на карусели. Вы начали невероятную игру, и я сейчас запрошу пощады.

— А вы знаете, мы с вами были бы плохие «он и она», если бы это, не дай бог, случилось.

— Почему плохие?

Она засмеялась.

— На нашу так называемую семейную жизнь уходило бы слишком много душевных сил. Но, в конце концов, это интересно, а не тихая заводь. Ужасно не люблю тихих мужчин и тихих девиц, ангелов во плоти!

— Поверьте, я ангел не очень тихий, — сказал он полушутливо и сзади за плечи повернул ее к себе, поцеловал осторожно в нежные края губ. — Вот видите, все время сатана где-то маячит за моей спиной, — сказал он и тоже засмеялся, решительнее отклоняя ей голову, целуя ее влажные скользкие зубы, плотно сжатые, как от боли.

Нетвердым движением она высвободилась, затем вопросительно, исподлобья вглядываясь в него, двумя пальцами потрогала свой рот, проговорила:

— Разве так можно? Вы поцеловали меня как-то... странно.

— Ужасный разврат, — сказал он.

Они миновали улочку садов и теперь пошли по пустынной набережной, слева от обрыва, в темном коридоре душных тополей, а над морем, очень далеко за горизонтом время от времени зарницами вспыхивали беззвучные молнии, отблески отдаленной грозы, дул слабый теплый ветер, но вся эта красновато-сумеречная пустыня воды была плоской, неподвижной,

мертвенной под одинокой луной среди пустоты неба.

— Ах, какая тоска! — неожиданно грустно сказала она вполголоса. — Какая сладкая тоска в этой непонятной луне, в этих тополях, в том, как вы меня поцеловали...

— Простите, не понял. Почему именно тоска?

Она не ответила, и здесь, на набережной, они остановились в тени старого огромного тополя, пахнущего терпкой сухостью пыли, высушенной корой и, уже сама, с зажмуренными глазами откидывая назад голову, подставляя приоткрытые губы, она сказала тихо:

— Я еще хочу...

Он понял и шутливо повторил ее недавнюю фразу:

— Мы идем с вами по жердочке через пропасть. К чему это приведет? Обломится жердочка — и мы ринемся в бездну, разобьемся о камни, сломаем себе шеи. Не так ли?

— Ну и пусть! — ответила она с каким-то обморочным вызовом. — В лунную ночь совершаются самые тяжкие преступления.

Он снова коснулся ее губ, чувствуя их скользкую молодую упругость, когда в ответ они шевельнулись под его губами, выдыхая еле слышно:

— Хочу преступления, хочу преступления, хочу...

И, дрожа коленями, иступленно и плотно прижималась к нему грудью, всем телом, закрыв глаза, страстно терлась щеками и подбородком о его умелый, ищущий рот, и раз, когда на миг он перестал касаться ее, она тихонько застонала, попросила шепотом:

— Еще, еще... Господи, какие у тебя хорошие губы. Еще...

Он длительно и жадно целовал ее, гладил ее спину и бедра со снисходительной нежностью баловня женщин.

Внезапно она вырвалась, оттолкнула его и резко, быстро пошла прочь по набережной, совершенно безлюдной, застучала каблуками, часто дробя лунную тишину ночи.

Он догнал ее, немного растерянный, окликнул:

— Подождите! Куда вы?

— Я не могу, — сказала она, задыхаясь. — Что вы со мной делаете?

— Да что случилось? Куда вы заспешили?

— Ничего не случилось. Просто пора уже сказать «до свидания».

— Сядем. Вот скамья. Сядем, пожалуйста.

— Мне хочется упасть на землю, а не сесть! — сказала она тоном насмешливого отчаяния, и лицо ее исказилось злой неприязнью к нему. — Вы измучили меня.

Он так решительно сдвинул ее, так притиснул к себе, что у нее синевато блеснули стиснутые зубы, она выдохнула:

— Мне больно.

— Хорошая моя, вы рассердились?

— Я хочу, чтобы это было, — прошептала она ослабленно. — Или вы меня боитесь? Или себя?

— Перестаньте говорить глупости, — грубовато прервал он, все теснее обнимая ее, напряженную, покорную, и вместе с ней пьяно качнулся к деревянной скамье в тени тополя...

Потом они сидели на этой скамье, и она вздрагивающим голосом говорила:

— Милый, милый! Но почему так все получается? Я хочу, чтобы ты был сегодня, сейчас мой, а я твоей. Мой, понимаешь? Ведь это разные слова — «полюбить» и «влюбиться». Полюбить — это навсегда, на целую жизнь. Невыносимо скучно! А влюбиться — это как наваждение, как сон... на несколько дней, на одну ночь, на один час, и пусть будет как у нас, пусть так!..

И дышала на его руку, целовала в ладонь.

«Как это все бессмысленно и театрально, — думал он устало, испытывая брезгливую гадливость к своей невоздержанности. — Какие немислимые пошлости мы говорим, какие несуразные делаем глупости... Кому это нужно — ей, мне? Любовная игра от жары, от крымской лени, и я, обремененный семьей, родственниками, болезнями, изображаю сорокалетнего пресыщенного повесу, а она — женщину без условностей, обманывающую себя фразами о влюбленности. Прости меня, грешного, неужели так, в игровом обмане, мы пытаемся бежать от самих себя?»



ПРЕДЕЛ И НАДЕЖДА

Я долго пытался найти слово, а оно было связано с чем-то грустным, прощальным, с каким-то роковым значением, завершающим некий смысл, некое состояние, движение, радость, любовь, целую жизнь.

Неужели это слово — «последнее»? Последний час? Последний вечер? Последний житель земли? Последняя любовь? Последняя страница?

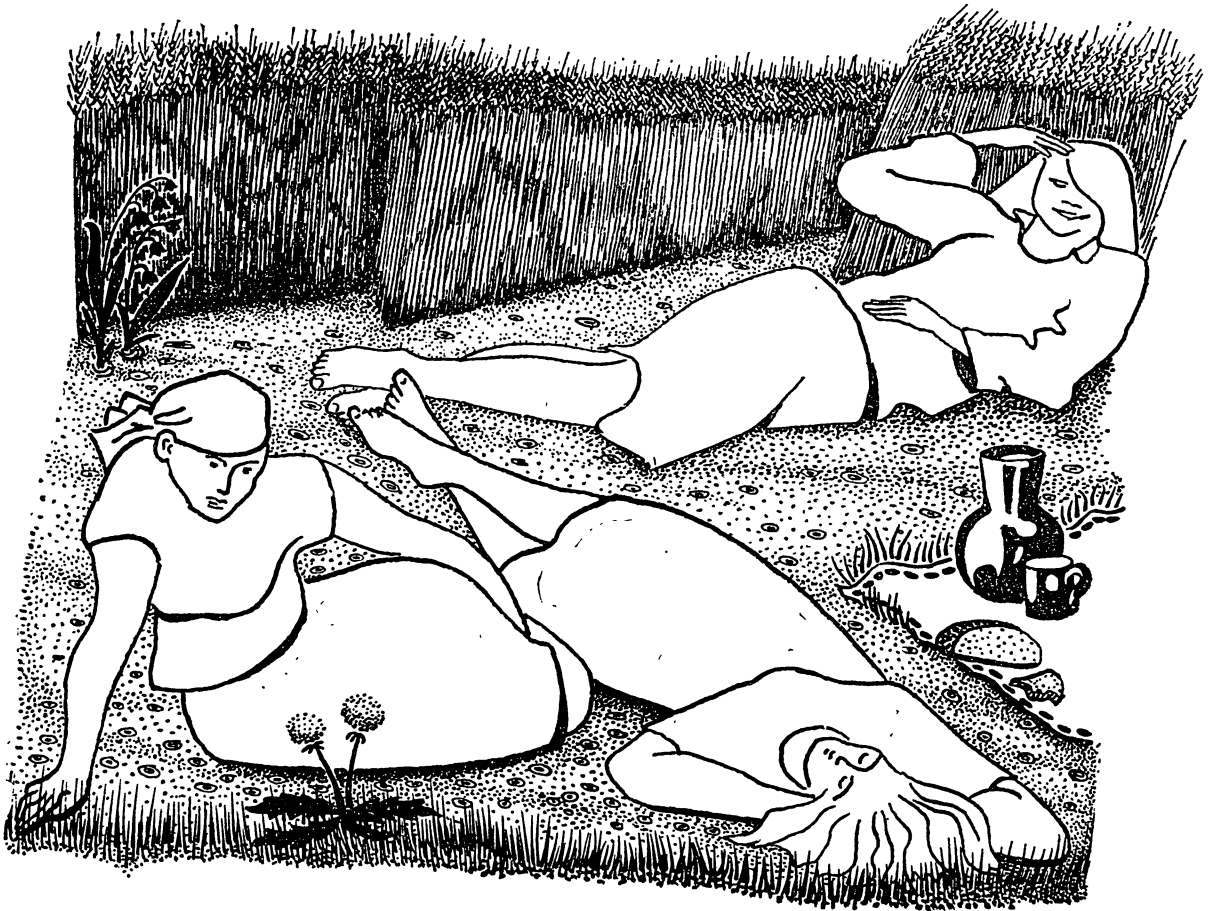
В этом слове ощущается сухой ветреный осенний день, желтое поле по кособогу, шум осин в насквозь продутом перелеске, шорох шевелящейся огненной листвы в обочине, дальняя на бугре полуразрушенная церквушка, пронзающая душу одиночеством среди пустых полей и холодных лучей солнца, предзимний крик галок

над заросшими бурьяном куполами, холодная синяя темнота пруда возле плотины...

В этом слове прощание, утрата надежды, затихающие шаги, крик боли в ночи, обрыв следа в бездну неизвестного и такое безысходное одиночество человека, вдруг узнавшего последний срок, неизбежный день, такая открытая пустота наедине с самим собою, с своей судьбой, что это одно только чувство последнего ощущения несравнимо со всеми муками неразделенной любви, желаниями неудовлетворенной славы, страданиями ревности и всеми другими страстями краткой человеческой жизни.

Но вместе с тем «последнее» — это предел, за которым неизбежность неведомого нам начала — новой земли, новой надежды, новой страницы.





3

ПАРИЖ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Утренний воскресный Париж тих, безлюден, улицы чисты, пустынно. Все еще спят за плотно закрытыми жалюзи, за розовеющими занавесями мансард, как спят и машины у обочин тротуаров, под платанами. В их сыроватой тени успокоенно поблескивают, не отражая будничную толпу, витрины закрытых магазинов, и за опущенными предохранительными решетками ювелиров, за зеркальным стеклом уютно дремлют драгоценные портсигары, золотые кольца, роскошные ожерелья, как-то потерявшие свою нужность в безмолвные часы человеческого покоя вместе вот с этими словно бы брошенными машинами возле темноватых подъездов домов.

В уже открытых уличных кафе все столики по-раннему сдвинуты, стулья перевернуты —

посетители редки: Париж спит часов до одиннадцати.

Ближнее кафе, куда я зашел купить сигареты, еще не заполнено, лишь трое посетителей пьют кофе подле стойки.

В углу дремотно шуршит еле уловимая музыка, сам же хозяин, толстенький, добродушный, механическим ножом режет только что принесенные девушкой из соседней кондитерской длинные хрустящие булочки, подмигивает серьезному молодому человеку в цветной рубашке, с тонкими усиками на смуглом лице; хозяин говорит, намекаяще улыбаясь:

— ...Ее оставил в постели? Выпьешь чашечку и опять к ней? Завидую тебе, Жан. Я уже старик для этой забавы. Мои воскресные утра — вот с булочками, и слава богу...

Высокая девушка, принеся булочки, проворно моет бокалы и смеется, суженными глазами поглядывая на хозяина, на молодого серьезного человека, говорит не без вызова низким голосом:

— Ты только не замучай ее, Жан. Я думаю, ты все делаешь очень серьезно. Ты очень деловой парень, Жан.

Молодой человек молча кладет деньги на столик и, не изменив выражения лица, выходит, засунув руки в карманы узких джинсов, обтягивающих его спортивный зад.

Я тоже выхожу из кафе и иду по утренним парижским улицам, радуясь тишине, пустоте их, и своей затерянности, и своему свободному одиночеству.

В полдень Париж напоминал южный город знойной, почти летней духотой; на Больших Бульварах сочно зеленели платаны, было многолюдно, пестро, шумная толпа обтекала, окружала какую-то испанского вида женщину, с резко-подведенными глазами, гадающую по линиям ладони наглолицему подростку, в этой же толпе смеялись, что-то советовали, а возле огромных реклам кинотеатра «Парамонт» продавали жареные каштаны, распространявшие с горячих листов железа сладкий запах; на краю тротуара, не обращая ни на кого внимания, нежно целовались два лохматоволосых существа в длинных пальто и джинсах, а вокруг жаркое сверканье машин, гарь выхлопных газов, газетные киоски, так густо, плотно завешанные цветными обложками дешевых выпусков черной серии, иллюстрированных журналов с роскошными телами и ликами манекенщиц, что в глубине киосков, за этой завесой едва виден позевывающий от духоты продавец; в кинотеатре «Нептун» шел порнофильм «Моргана и нимфы»; на площади Клиши — другой фильм, «Эротика Парижа», на плас-Пигаль — кинотеатр ужасов, — террор, Дракула, женщина-вамп; неподалеку маленький магазин «секс шоп», где в академической тишине молчаливые люди разных возрастов, не подымая глаз, неторопливо просматривают, внимательно листают книги, посвященные вариантам и вариациям любви; игральные бары с разными установками — от имитированных автомобильных гонок до снайперских винтовок, нацеленных в силуэты; здесь можно купить искусственный «вибратор» для больших женщин («самый эластичный, самый гигиеничный»), популярны пластинки и посмотреть через глазок фильм-стриптиз, опустив франк в автомат; рядом с барами дорожные витрины, кричащие модными сорочками, костюмами, элегантными галстуками; самодовольные ювелирные магазины, блистающие золотом и бриллиантами, как сама

пресыщенность; вблизи этого богатства непрощанные, накрашенные девочки выглядывают из подъездов с протяжным и призывным «Алюю-у?»; вблизи подъездов молодые люди с курчавыми височками сутенеров вкрадчивой скороговоркой предлагают некие адреса; под тентами уличных кафе, за столиками, покрытыми красными и белыми скатертями, сидят лениво, протяженно пьют аперитив, оранжад, кока-колу, минеральную воду, при этом с равнодушным любопытством глазуют на проходящую мимо толпу, что в общем-то так привычно для парижан, непонятно когда работающих, бывающих в семье, со своими детьми; пожилые дамы высокомерно гуляют с собачками, одетыми в яркие жилеты; шоколадные, гибкие красавицы-мулатки особенно выделяются в толпе женственно-узкой, раскачивающейся походкой; толкаясь на углах, тонконогие, высокие негры поглядывают на них вождеденно; группы седых некрасивых американок то и дело щелкают фотоаппаратами, выказывая смехом вставные зубы; легкий ветерок духов, сладковатый запах мустажа; а вот букинистические киоски на берегу Сены с самым немислимим разнообразием выставленных здесь репродукций и книг на прилавках, постоянно окруженных парижскими библиофилами, и совсем рядом, как вечность и бессмертие, уходят к небу готические башни Нотр-Дам — внутри звучат великолепием фуги Баха, идет воскресная месса, бледные, углубленные лица в торжественном полумраке собора, любовь, жизнь и смерть в блеске свечей, распятие, изображение белоснежного голубя, прохлада от вечного камня... А по соседству с Нотр-Дам, на Сите, под жарким апрельским солнцем, в тени зеленых платанов, — маленький птичий рынок, веселый, яркий, как-то по-детски шумный: легкомысленные желтые попугайчики в клетках, степенные косматопалые голуби с бирюзовыми глазами; тут же беспрестанно жуют, стремительно двигая носами, кролики; красные галльские петухи вдруг вскрикивают с яростным рыцарским вызовом при одном лишь мимолетном взгляде друг на друга; всюду детские лица, смех, сияющие глаза, везде солнечные косяки меж платанов, за которыми неподалеку уносится ввысь Нотр-Дам, веселый щебет птиц, воркование голубей, говор стариков продавцов, даже непримиримая воинственность петухов придают этому дню нечто мирное, весеннее, чистую неизбежность молодости, милую пестроту жизни многомиллионного города с его теплым светом, который до сладкой боли напоминает мне мое детство в заросших липами замоскворецких переулках, совсем непохожих на

Париж, с русской летней прелестью ласкового солнца в еще прохладных задних дворах, с возней голубей в нагульниках, пронизанных через щели золотыми солнечными нитями, с чир-

каньем воробьев в сараях, неповторимо приятно пахнущих березовыми дровами, жареной коноплей и перьями — запахами моего детства.



ВЕНЕЦИЯ

Мчались по прямому шоссе мимо беленных бензоколонок, гигантских рекламных щитов, предлагающих самое вкусное пиво «Перони», особо комфортабельные фордовские машины для Европы, мимо сияющих, как радиальные золотые лучи, лимонно-желтых ракушек «Шелл», шестиногих драконов, изрыгающих из пасти красное пламя, этих символов высокооктанового бензина, проносились мимо гостеприимных придорожных ресторанов, словно бы отединенных от городков, видневшихся справа и слева на холмах вокруг острокровельных средневековых замков, ярко залитых вдали солнцем; и нежно, по-весеннему сверкала трава, серебристо блестели в полях листья олив; а среди зелени полей, подобно трубам дредноутов, дымили заводы, дым висел, растягивался туманцем над садами, светился в воздухе над ровной весенней долиной — и вдруг появилось смутное чувство раздражения против нескончаемых этих современных заводских эскадр на благостно обетованной, обласканной когда-то богом древней земле.

Но это чувство прошло в Венеции, исчезло надобно — и любовная тихая радость, ощущение юности, ясного прощения всему не покидали меня, когда вечером, усталый, с приятно горящим после солнца, воды, морского воздуха лицом, глядя на огни в храмах, в дворцах, темневших из воды, я возвращался на переполненном пароходике к пристани, где на набережной находился мой отель.

Если бы люди не отчуждались, соблюдали высоту чувств, влюблены были в прекрасное и уважали художников, то Венеция стала бы городом поэтов, писателей, живописцев, уютным центром кипящего искусства; здесь писались бы романы, поэмы, создавались драмы, выходили разного направления газеты и журналы, в маленьких ресторанчиках на набережных собирались бы литераторы, и за бокалом легкого

мартини велись бы споры о судьбах слова, о последнем романе Моравиа или Леонова, о пьесе Беккета или фресках Микеланджело. Как хорошо, наверное, было бы пройтись утром по теплой, еще слегка влажноватой площади Святого Марка, где уже завтракают туристы в открытых кафе, с удовольствием шагать по ее брусчатнику, несколько устав от многодневной работы в какой-нибудь снятой мансарде, особенно грустной, теплой, безмолвной по вечерам, освещенной закатом, когда чуть розовеет вода в каналах, еще не зажигаются огни в домах и благовестная тишина стоит в светло тлеющем небе, на мостах и воде, спокойной по-предвечернему, с бесшумным скольжением гондол меж старинных, заплесневелых стен, погруженных в сумеречно-лиловатую тень пустынных двориков, выходивших на каналы, как улочки, в глубине которых, напоминая о жизни обыденной, помирному развешано белье, и окна домов распахнуты, впуская счастливым покой заката. Мне казалось, что в эти часы неторопливо и радостно работалось бы здесь.

В солнечный весенний день Венеция блещит темно-зеленой водой каналов, белизной далеких за пространством воды дворцов, набережные переполнены молодежью, праздными туристами — смех, крики, зазывающие голоса красавцев гондольеров в широкополых шляпах; на площади Святого Марка тучи голубей мелькают над храмом и Главным каналом, опускаются с шумным треском крыльев, снуют под ногами с такой безбоязненностью, что опасаясь наступить на этих полновластных здесь хозяев суши; заменяющие такси моторные лодки, потрескивая, идут в разные стороны по каналам, нагоняя волну, которая колыхнет мусор, обрывки газет, бутылки, апельсиновые корки, обмывает каменные морды львов возле подъездов; из-за поворота этих сказочно мощенных водой улочек, в каньоне домов вдруг раздается пре-

дупреждающий крик гондольера, и тотчас на повороте за мостиком, аркой нависшим над головой, щелкнет внезапно фотоаппарат, и смуглый — весь пленительная улыбка — парень, не без любезности снявший вас со встречной лодки, бросит в гондолу свернутую бумажку — свой адрес, на тот случай, если вы захотите взять фотографию; повсюду из открытых окон слышится смех, молодые голоса — и оттуда, улыбаясь, выглядывают приветливо юные лица (блестящие глаза, белые зубы, черные волосы), из окон машут вашей гондоле руками с выражением давних знакомых. Город давно привык к чужестранцам и относится к ним с ласковым радушием; да, здесь все необычно, радушно: и узкие улочки в центре города, где идешь, точно по лабиринту, меж вывесок баров, витрин крохотных магазинов, чересчур оживленных,

излишне ярких, цветистых даже, рассчитанных на любопытный глаз туриста; мосты через каналы, закоулочки, тихие площади, где как будто от века стоят храмы и памятники; и тут же детские коляски, толкаемые молодыми матерями, кажущимися в коротких юбочках чрезмерно длинноногими, возбужденные, потные мальчишки с криком, брызганьем, толкотней пьют прямо из фонтанчика посреди газона; и незаметная на углу афиша французского кинофильма «Женщины»; и стрижи в сумерках площади с писком садятся на карнизы храма; и брусчатник, успокаивающий своей древней прочностью; и каналы, каналы, мутноватая зелень воды, запах сырости и плесени от стен, омываемых водой сотни лет, — все это наводило на мысль о людях с воображением мечтателей, когда-то построивших в морской лагуне сказочный город.



ГОРОД АРНХЕМ, 100 КМ ОТ АМСТЕРДАМА

К вечеру въехали в этот городок, сплошь в деревьях, провинциальный, осенний, засыпанный мокрыми листьями, и сразу же поразило особенно яркий свет незашторенных окон — зажигались люстры, торшеры, бра в гостинных, и этим светом повсюду открытая глазу жизнь семейная, домашняя как бы вынесена была на улицу.

Еще в Амстердаме мне объяснили, что «открытые окна» возникли в конце первой мировой войны, когда стали строиться дома новой архитектуры.

Мы остановились в маленьком «Рейнотеле», таком милом, курортном, таком тихом, что было странно и приятно осеннее его безлюдье после многолюдного амстердамского аэропорта, после часовой езды по чересчур оживленной автостраде.

Уже заполняя регистрационные листки в вестибюле отеля, устланном мягчайшим ковром, заглушавшим шаги, мы слышали отдельные голоса из ресторана, красновато освещенного настольными лампами, звуки пианино — кто-то негромко играл вальс из кинофильма «Доктор Живаго».

Потом портье, немолодой, воспитанно-вежливый, с улыбкой выхватил никелированные

ключики, вставленные в гнезда на стойке, и, продолжая улыбаться, взял наши чемоданы, повел к лестнице.

В номере он зажег свет — и тотчас ослепили зимней белизной два конверта постели на двухспальной кровати с ночниками в изголовье; портье поставил чемоданы, показал, деликатно приоткрыв дверь, ванную, сияющую кафелем и зеркалами, нежно желтеющую мохнатым ковриком на полу.

С усилием некоторым я развернул тугой конверт-постель, и прохладная, будто чистой хрустящая простыня, стерильный пододеяльник, пуховое лоно подушки поманили неодолимо...

Как показалось мне, проснулся я ночью от мычания коров. Где я нахожусь? Что такое? Занавеска на окне выделялась лиловым квадратом: наверное, забыл потушить бра в коридорчике и занавеска озарена из открытой двери передней. Но это были неяркие лучи ноябрьского утра.

Я отдернул занавеску. Внизу, омывая террасу летнего, закрытого, видимо, до сезона кафе (составленные под навес пластиковые столики блестели лужицами холодной росы), тек в долине Рейн, темно-свинцовый, с песчаными пляжами, по которым бродили взъерошенные

ветром чайки. На том берегу, невидимые, мычали коровы; зеленели луга. Слева выступал среди пасмурного неба устремленный в дождливые тучи костел, рядом мокро мерцала площадь, где не было ни души. Справа над террасой летнего кафе — огромные стекла полу-кругло висевшего над берегом ресторана, там, за стеклами, двигался причесанный мальчик-официант в черном костюме, расставлял приборы на столиках.

Потом завтракали в этом ресторане с видом на Рейн, на его луга; мы сидели здесь совершенно одни, и очень быстро в турецких кофейниках были принесены кофе, молоко в кро-

шечных металлических сосудах с будто бы птичьими носиками, ягодный джем, пластинки масла в золотой обертке, свежая ветчина, ломтики белого и черного хлеба в целлофане.

Мы испытывали какое-то сытое умиротворение в этой успокаивающей утренней тишине ресторана, согретые горячим кофе, наслаждаясь сигаретами после завтрака, мысли текли ленивые, скучные, будто осенний дождь, который начал сеяться из низких туч, застилая серым туманцем и неприятные пляжи Рейна, и чаек, и костел посередине пустой площади...

Все-таки есть особая, красивенькая тоска в курортных европейских провинциях осенью.



ЩЕГОЛ

Щегол всю свою птичью жизнь поет одну и ту же песню — одного и того же содержания, однако каждое утро и перед закатом поет неистово, с одержимостью гения. И все же соловей — гений, щегол — талант, сорока — почти

бездарность. Но, вернее, щегол талантлив только в прекрасную пору раннего летнего утра и всегда неповторимого конца дня, прощаясь на целую ночь с солнцем.



ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ДЕТСТВА

Вот начало этого настроения:

«На западе прозрачным леденцом стояла меж стогов сена луна, и длинный хвост Большой Медведицы опустился к побелевшему востоку. Уже выпала роса, было тепло и сыровато. На речных заводах в блаженном упоении стонали лягушки...»

Когда я видел и чувствовал все это? Я представил тишину, околицу деревни, звуки летней ночи и в этой ночи увидел себя на берегу реки, босого, невыспавшегося, счастливого от ожидания рыбалки. На моем плече елозила, давила тяжесть влажного весла (всю ночь лежало в траве), другое весло нес мой брат, и мы спускались к заводу, где под откосом в еще сумрачной тени деревьев чуть-чуть покачивались лодки и ласковая волна мягко шлюпала у просмоленных днищ. Я ощу-

щил босыми ногами сырость песка и видел, как вода возле камышей уже трепетала и переливалась в розовеющем свете зари.

И вот это раннее летнее утро до сих пор связано с иной радостью, как бы рожденной самой рекой, зарей, деревьями, холодным песком, — полуметровые язи с огненно-красными плавниками, сильные, упругие, рвались на леске перетяга, который мы поставили вечером, и боролись с нами, и выскальзывали из рук, эти круглоглазые красавцы тайных речных глубин, покрытые рыцарским золотым панцирем. Они лежали потом на дне лодки, туго ударяя хвостами, и чувствовал я какой-то священный восторг при виде этой пойманной красоты и вдыхал в себя первозданный запах ила, запах обмытых омутной тьмью коряг, где недавно царствовали они, толстоспинные и самоуверенные властелины вод.

Щекотно-сладостное чувство ловца, охотника я переживал в детстве не однажды, и всякий раз счастливое ликование победы охватывало меня. Возможно, токи древних предков пульсировали в моей крови, напоминая о том первобытном времени, когда само существование рода человеческого зависело от удачной охоты за пищей насыщенной.

Но все же я испытывал наслаждение не от

добытой тогда пищи, а от силы красоты, заключенной в той холодной упругой плоти красноперых язей, что уж никак не преобразовывались в моем детском сознании в нечто вожаденное, имеющее вкус, запах еды, необходимой человеку для продолжения жизни. А было восторженное удивление перед пойманными живыми золотыми слитками, сказочными знаками непостижимой тайны реки, всего того летнего утреннего мира...



ЕДИНОЕ

Мир разноязычен, но все люди одинаково плачут и одинаково смеются.



СВОБОДА

Когда человек судорожно держится за жизнь, он находится в мучительном телесном рабстве. Как только исчезает алчное насыщение жизнью,

наступает свобода от страха смерти. И тогда человек свободен безгранично.

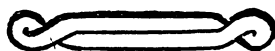


НАПИСАННОЕ

Когда-то увиденные мною в жизни сцены, а вследствие этого и возникшие ощущения мучительно «сидят» в моей памяти до той поры, пока с большими потерями точности и красок я не перенесу их на бумагу.

Но как только я освободился от этих засевавших в памяти картин и определенного настроения, сразу же наступает облегчение, хоть и не до конца удовлетворяющее. И после этого все, что действительно было в реальности, воспринимается мною только через написанное, через

зафиксированное на бумаге — и я уже не возвращаюсь больше к использованной памяти, не смотря на то, что отраженное на страницах книги явно не равно бывшему когда-то на самом деле. Удалось ли мне передать осенний Днепр в «Батальонах», или «воздух» возвращения в «Тихине», или сумасшествие боя в «Горячем снеге», но теперь я избавлен от некоторых ощущений, воспоминаний, связанных с этими событиями моего прошлого.



ЛЕС И ПРОЗА

Если в летнем благословенном лесу человек способен испытывать очарование сверкающей зелени, теплых запахов травы, солнечных светотеней, то он не замечает корявых веток под ногами, гнилых пней, безобразного сушняка в чаще.

Все это не портит общего ощущения любви

к существу, и от радости ходить по земле охватывает его душу ветерок счастья, навеянного золотым днем истинной красоты бытия.

Так бывает и в мудрой прозе, которую следовало бы назвать добрым судьей, приведенным к присяге самой жизни.



СТЕПЬ

Иногда я пытаюсь вспомнить первые свои прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что это может вернуть меня в наивную пору счастливых удивлений, смутного восторга и первой любви, вернуть то, что позднее, уже зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто и пронзительно.

С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи?

Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности давнего моего детства.

Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение самого высшего счастья — это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, навсегда утраченного с сущей красотой вечного, детского со взрослым, подобно тому как соединяются золотые сны с явью. Однако, может быть, первые ощущения — неясный толчок крови предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, мотал, исхлестывал травы под сизым лунным светом, и скрип множества телег на пыльных дорогах перемещивался с первозданной трескотней кузнечиков, заселивших своим сопровождающим звоном многоверстные пространства, днем выжигаемые злым солнцем до горячей сухости пахнущего лошадыми воздуха...

Но первое, что я помню, — это сырая свежесть раннего утра, сочные травы, тяжелые от росы, высокий берег реки, где мы остановились, видимо, после ночного переезда.

Я сижу в траве, укутанный во что-то пахуче-теплое, мягкое, наверное, в овчинный тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер (которых у меня никогда не было), а рядом с нами, тоже укутанная во что-то темное (ясно помню только деревенский платок на ее голове), сидит какая-то бабушка, кроткотихая, уютная, домашняя. Она чуть наклонилась к нам, как бы своим телом согревая и защищая от предрассветного холода (это вижу, чувствую совершенно отчетливо), — и все мы смотрим, как очарованные, на чудовищно огромный, малиновый, поднявшийся из травы на том берегу шар солнца, такой неправдоподобно близкий, такой искрящийся в глаза брызгами лучей, весь отраженный на середине розовой неподвижности воды, что все мы в счастливом безмолвии, в затаенной ритуальной радости ожидания сливаемся с его утренним теплом, уже ощущаемым нами на овлаженном росой берегу безымянной степной реки.

И удивительно — как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бугор, траву, реку, солнце над ней и нас на том бугре, всех, наклоненных слева направо, темную нашу кучку, укутанную на холодке рассвета тулупами, и бабушку или прабабушку, возвышающуюся над нами, — вижу это вроде со стороны, но не помню ни одного лица. Лишь белое, смутное, не лицо, а доброе пятно под деревенским платком ощущается мною, рождая чувство детской защищенности и невинной умиленной любви к ней и к этой прелести открывшегося на берегу реки степного утра, неотрывного от неясного лица никогда позднее не встречавшейся мне бабушки или прабабушки...

Когда же я вспоминаю этот осколочек полуяви-полусна, то испытываю непередаваемо покойное, подхватывающее меня мягкими объятиями счастье, как будто впереди открылась вся доброта мира в тот миг поднявшегося из травы солнца, встреченного, увиденного нами где-то в пути, в длительном переезде куда-то. Куда?

Странно вдвойне: я помню освещение, запахи, время переездов и ожидание медленного приближения к невиданной и неизведанной красоте, к обетованной земле, где все должно быть радостью.

И встает из уголков моей памяти серый, дождливый день, большой деревянный дом неподалеку от переправы через широкую реку, за которой смутно проступает какой-то расплывчатый в своих очертаниях город, с церквями и садами, что-то не совсем определенное, четкое по предметам, но все-таки большой город.

Я не вижу самого себя — в доме ли я или возле дома. Лишь представляю мокрый завалинок, налочки резные и истоптанную копытами дорогу — от дома к реке — и чувствую лепет дождя, и знаю, что меня сейчас позовут, а вокруг в сыром воздухе теплый запах лошадей, сбруи, навоза, запах хлеба — эти удивительные запахи, вечные, как жизнь — движение, томительно беспокоящие меня до сих пор.

Но почему во мне, городском человеке, живет это? Все те же толчки крови степных предков? Уже будучи взрослым человеком, я однажды спросил у матери, когда был тот день, тот дождь, и переправа, и город за рекой; она ответила, что меня тогда не было и на белом свете. А вернее — это кажется так, — она не помнила того дня, как не помнил и отец одной ночи, которая навсегда осталась в моей памяти.

Среди темноты я лежал на арбе в душистом сене, таком пряном, медово-сладком, что кружилась голова и вместе кружилось над головой черное звездное небо, устрашающе далекое, огромно-бесконечное, какое бывает только в ночной степи, и перед моими глазами колюче мерцали, шевелились, горели, тайнодейственно перестраивались созвездия, в высотах сияющим белым дымом тек, двумя потоками расходился

Млечный Путь, что-то происходило, совершалось там, в темных небесных глубинах, пугающее, счастливое, непонятное...

А внизу наша арба медленно переваливалась по степной дороге, и я словно плыл между небом и землей с замирающим от восторга сердцем. Невысказанный восторг вызывало еще и то, что все разверстое надо мной черно-звездное пространство вселенной и вся чернота летней степи были туго заполнены металлическим звоном сверчков, неистовым, страстным, не прекращающимся ни на секунду, и казалось мне, будто сверлило пронзительно и серебристо в ушах от царственного блеска распыляющегося Млечного Пути.

И лишь по-земному подо мной лениво покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль мягко хватала колеса, доносилось тихое влажное пофыркивание невидимых внизу лошадей, чувствовался запах сена и приятного конского пота. Эти привычные звуки и запахи возвращали меня на землю, в то же время я не мог оторваться от втягивающего своими необъяснимыми звездными тайнами неба, испытывая почему-то неизбывную радость перед непонятным сладостным миром.

«Я всех люблю, — думал я. — И все тоже люблю меня. И так будет всю жизнь».

Потом рядом зашевелился отец, и я услышал возле себя заспанное покрякивание, ощутил запах его табака, одежды, знакомый и терпкий; отец, смутно чернея, сел на сене, поглядел по сторонам, на едва белеющую дорогу, осторожно взял винтовку и двинул затвором с легким железным стуком, вынул обойму и вщелкнул ее опять, протерев патроны рукавом. Затем отец вполголоса сказал матери, что впереди станица и в ней пошаливают: три дня назад там убили кого-то. Я замер, закрыл глаза. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного равновесия, спросив его, убил ли он сам когда-нибудь человека? И как это было? И страшно ли убивать? И зачем?

В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавал.

Но и никогда потом в жизни не повторялось того единения, слития с небом, того немого восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.



ТАЛАНТ И СЛАВА

Бывает, что в литературе подолгу живут книги несуетливого писателя, однако нет у него ни громкого имени, ни славы.

Бывает, что есть и слава и имя, но нет таланта в трудах знаменитости — солидная, так

сказать, денежная купюра, не обеспеченная золотым запасом.

В период «массовой культуры» чрезвычайно редко встречается писатель счастливого соединения имени и таланта, таланта и славы, заслуженной книгами.



В ТАЙГЕ

На моторке переправились на правый берег Тунгуски. Здесь нас ждал эвенк Иосиф Васильев, маленького роста, крепенький, в зимней примятой шапке, в пиджаке поверх довольно заношенного свитера. Держа на ремне двух лаек, он стоял, раздвинув ноги в резиновых сапогах; защитного цвета аккуратные галифе, меховая шапка придавали ему нечто солдатское; широкоскулое молодое лицо спокойно от привычной внутренней сдержанности и вместе с тем дружелюбно. Ни искусственной приветливости, ни заученной улыбки, ни оттенка предупредительности или заносчивости — ничего этого, фальшивого, что бывает в общении иных проводников, не было в облике Иосифа.

— Дластвуйте, — сказал он, докуривая неспешно.

Он пожал нам руки коротким сильным пожатием — кисть у него была тонкая, сухая, и, спросив нас, готовы ли мы, пошел вперед с собаками.

Мы двигались по протоптанной охотниками тропе, что подымалась в гору, в тайгу, вскоре начались болотца, заросшие травой; резиновые сапоги уходили во всасывающую топь, ноги вытягивать из этой жижи приходилось с трудом; ружье пружинисто цеплялось за нависшие над головой сучья, они трескуче ломались возле самого уха, до отказа набитый рюкзак все тяжелел и тяжелел на плечах, тропа уже была едва заметной и, меняя направление, извивами вела по тайге, которая колдовски втягивала нас в себя, буро-желтая, влажная, буреломная, освещенная бледным октябрьским солнцем.

Потом я шел, весь в поту, сняв шапку, видел перед собой бугром покачивающийся рюк-

зак Сергея, он тоже снял шапку, голова его, мокрая, словно дымилась; а далеко впереди еле различим был Иосиф с собаками — мы не успевали за ним.

— Невский проспект, — выговорил с усмешкой Сергей, — имеет место...

К реке Светлой брели через бесконечную марь, никакой тропинки здесь не было, и меня шатало от усталости, бросало при каждом шаге из стороны в сторону, с кочки на кочку, будто выламывало ноги, и ждал я теперь лишь одного: поскорее, поскорее выйти из этой дикой, вымотавшей нас полутрясины.

Через час увидели Светлую. Она текла вниз, тихая, первозданно прозрачная; хорошо видна мотающаяся зелень водорослей, белела между ними донная галька; мы спустились, хватаясь за сучья, к воде, перешли ее вброд, медленно выбравшись на откос другого берега, наконец сделали привал.

Сбросив рюкзаки, приставив ружья к деревьям, мы (я и Сергей) обессиленно присели на поваленную березу, проводник же наш постоял немного, с наслаждением выкурил папироску и отправился дальше поискать след зверя, ибо, по его наблюдениям (заходил Иосиф сюда несколько дней назад), где-то рядом должна быть «берлог» Амикана-дедушки. Эвенк углубился в тайгу весте с собаками, а мы всё сидели, глядя на Светлую, текущую среди желтых крутых берегов, среди первобытной тишины предсумеречного часа осенней тайги. Неужели я еще когда-нибудь увижу все это?

Вдруг впереди отдаленно треснул выстрел, секундное безмолвие — и тут же второй выстрел прокатился по тайге.

Мы встали, прислушались.

— Все, — сказал Сергей. — Конец медведю. Стреляли жаканами.

— Не может быть, — сказал я, не поверив. — Так быстро?

— А ты думал как? Первый выстрел из карабина дал Иосиф, когда зверь вылез. Вторым выстрелом добивал мишу.

— Медведя? Так быстро?

— Наткнулись. На берлогу.

— Это сохатый. В него, наверно, стрелял Иосиф. Я видел, когда к воде спускались, Иосиф показывал его следы и лежбище на берегу. Свежее лежбище. Трава еще не поднялась.

— Держу пари — медведя взял. Без нас, — сказал ревниво Сергей.

— Но почему он не приходит оттуда?

— Свежует. В течение получаса надо свежевать. Так что готовь костер, шашлык сейчас делать будем.

Иосиф вернулся, должно быть, минут через сорок, молча бросил к костру двух больших жирных уток, затем привязал своих лаек к молоденьким елям (лайки мгновенно положили морды на вытянутые лапы и затихли), так же молча присел на поваленную лесину возле костра, лицо его по-прежнему ничего не выражало, закурил крепкую папироску «Север»; казалось, он совершенно не чувствовал усталости, только черные височки, видимые из-под шапки, слиплись от пота.

— Где медведь? — спросил Сергей подозрительно.

— Медведь две недели назад тут ходил, — сказал Иосиф, покуривая. — След старый. Ушел отсюда. Две недели много времени, однако.

— И ты по этим криквам стрелял? — удивился насмешливо Сергей. — Я же тебя прошу берлогу нам показать! На кой черт нам утки?

— Вот для супа утка хороший. Там впереди — озера. Много озер. Тайга. Большой марь, — ответил Иосиф. — Туда амика пошел. Жир нагуливать. О зиме миша думает.

— Ну и ну-у! — сказал Сергей. — Ладно. Порубаем этих уток на ужин и подумаем, как жить дальше.

Уже темнело. Пока варилась утятина, мы пили чай, закусывали копченой колбасой с хлебом и все поглядывали на вечеряющую Светлую в узкой низине.

— Сохатина есть, — сказал Иосиф, вынимая из вещмешка маленькие коричнево-белые кусочки сушеного мяса. — Сохатиный жир тоже есть. Пробуй.

— А собак почему не кормите? — спросил я.

— На охоте, перед охотой нельзя.

Я пожевал сушеную сохатину, попробовал сохатиный жир — это было тресно, сытно, пахло дымом чума и ветреной тайгой, как тогда показалось мне. Потом хлебали густой бульон, ели вкуснейшее утиное мясо, горячее, душистое, жирное, какое, наверно, я не ел ни разу в жизни.

— Ночевать надо, — сказал Иосиф и взял топорик. — Дрова для костра готовлю. Пойду за лесинами.

Остродухие лайки, не подымая голов от лап, проводили его умными желтыми глазами, однако не встали, зная, видимо, что охота на сегодня закончилась. Они лишь хвостами чуть-чуть помотали хозяину, а Иосиф ходил вокруг костра не спеша, валил топором потрескивавший сушняк.

На ночь мы срубили несколько елей, приготовили лапник, толстым пружинящим слоем разложили его полукругом вблизи костра, который сейчас горел высоко, жарко, со всех сторон охватывая пламенем корневища поваленных нами лесин, и стали готовиться к ночи.

— Сапоги снимай, портянки и потники суши, шерстяные носки две пары надевай, хорошо будет, — сказал Иосиф. — И еще чай перед сном надо...

После мы лежали на лапнике около костра, вторично напившись горячего чаю, ноги сквозь две пары шерстяных носков чувствовали жар огня; черная тайга сжимала нас тьмой непроглядной ночи. Я подложил под голову вещьшок, поудобнее упер его в ствол ели, поднял воротник куртки, сжался на боку, закрыл глаза, чувствуя, как горячо ногам от костра, как холодом дышит в щеку ночная земля, веет в спину студеным мраком из тайги. Продолжая пить чай, Иосиф разговаривал с Сергеем, и я слышал их голоса:

— Весь мир черт-те где, а тут тайга, огонь, костер!.. У тебя не бывало, Иосиф, чтоб в тайге ночевал без костра?

— Раз было. А так спички имеем. Ружье ведь есть, порох, патрон. Всегда огонь будет.

— Каким образом?

— Спичка нет, стрели в старый пенек, который... как это... труха есть. Затлеет труха. Иногда труха березового гриба берем, сушим, с порохом мешаем. Вот тут в кармане зимой носим. Это как спичка.

— Ни разу не замерзал в тайге-то?

— Замерзал. Шестнадцать лет мне было. На оленях побежал в тайгу. Устал олень, я устал. Мороз — пятьдесят градусов. Остановка сделал. Костер хотел развести. А спичек нет. Замерз совсем. Вокруг ели стал бегать. Бегал, бегал,

а костер горит, большой костер, кажется мне, совсем рядом. Огонь, искры...

— Представлялось? Замерзал, значит, Иосиф? Ну, ну?

— Замерзал. Не замерз. Брат за мной поехал. След нашел. Собаки у него были. Нашел

меня брат. Костер развел, спирт дал. Все хорошо.

Что же такое было тогда в моей душе? Было тихое согласие с самим собой — может быть, это и есть счастье?



О МЕДВЕДЕ

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

В прошлом году охотник наш Маплин осенью уже харийса (хариуса) на мушку около камня на перекате ловил. Не идет харийс, хоть плачь, хоть пляши! Возвращается по вечерку, задумался о том, о сем. Подходит к первым домам, голову поднял, вперед поглядь — а из-за дров медведь встает, громадный, как черт темный. Встает, глаза — угольки, и на Маплина смотрит. Маплин к карабину дернулся, орет от не-

ожиданности такой: «Ты что, трах-тарарах, ходишь тут?» Медведь от крику его рванул боком за дрова, и из него, как из бочки! Этот Маплин знаменитый матерщинник у нас и горлодер. Горло — колокол, а тут в три силы заревел матушкой. А зверь неожиданного шуму боится. Медвежья болезнь называется, слышали? Стрелил он его.

ВТОРОЙ РАССКАЗ

А то снег уже выпал, Тунгуска стала, а тут шатун появился. Шатун стороной людей не обходит. Жиру он осенью не набрал, в берлог не залез — ягоды мало было. И шатается. Иной раз много их в зиму бывает. Этот ночью в поселок пришел. По следам потом всю историю его выяснили. Подошел он сначала к магазину, долго кружил, вынюхивал, потом почему-то к квартире главного бухгалтера потопал, на крыльце долго лазил, мялся. Зачем к главному бухгалтеру — совсем непонятно! Походил у бухгалтера, потоптался — и двинул посеред улицы

к кинотеатру. А там сеанс последний кончился, народ из клуба повалил, кто-то песню затынул, разговор, смех. И зверь назад заворотил. Как раз в проулок. И за углом столкнулся нос к носу с директором промхоза. Тот увидел мишу, хотел «папа, мама» сказать, да говорить некогда было, жену в охапку и деру к своему дому. Дверь еле успел захлопнуть на защелку — и за ружьем. А миша ревет на крыльце, дверь когтями полосует. Одно слово — шатун, злой он до крайности. Тут он его и взял, однако. Стрелил двумя жаканами.

ТРЕТИЙ РАССКАЗ

Охотник в тайгу шел, жена его провожала на лошади. Простились они. Она назад поехала. А что дальше было — догадаться только можно. Видать, зверь в засаде сидел, а потом вышел ей поперек пути. Лошадь испугалась — и понесла.

А она упала с лошади. Женщина ведь. Заломал он ее. Потом кости ее нашли, а поверх их чулки ее лежали. Чулки он поверх костей положил. Жрет он человечину-то. А женщина скусней мужчины.

ЧЕТВЕРТЫЙ РАССКАЗ

Вечером уже стадо гнали, туманец от реки, коровы мычат сытые, у ворот мордами трутся, а тут голодная медведица, здрасте-пожалуста,

забрела из тайги с семейством, значит, с медвежатами малыми — своими ребятенками. Напала матушка на корову, стала драть, рев, мык, пыль

каруселью на дороге, ровно два трактора сдуру на пьяный манер сцепились. На шум такой доярки выскочили, закричали, руками замахали, а матушка никак с коровой не справится, рвет ее, а не может задрать. Медвежата в кустах запаниковали, хором благим матом орут,

за мамашку беспокоятся. Тогда медведица поздрей на всю деревню фыркнула, вроде руганулась, бросила корову-то, напала на козу, разодрала ее и половину в тайгу унесла... ребятенков кормить. Никто не стрелил ее...



УТРО

Утро в детстве пахло голубиным пером, влетевшим со двора в окно и опустившимся на горячую от солнца подушку.



ДВЕ ГРОЗЫ

Сначала погромыхивало над деревней на дальнем берегу, белая молния отвесно прорезала там огромную фиолетовую тучу, вонзалась за горизонтом в землю, и чайки визжали перед дождем, дрались в камышах, вырывая друг у друга мелкую рыбешку.

Потом сплонь потемнело над Волгой, черная рябь пробежала по плёсам, запахло холодковой свежестью влаги, потянуло густой прохладой, вдруг первые пульки дождя пробили спереди по воде, порывом хлестнули справа и слева от лодки — и, обвальным ливень зашумел, загудел, забушевал вокруг вместе с ветром, и все мгновенно расплылось, исчезло в водянистом тумане.

Когда добрались до пристани, на мне нитки сухой не было, брюки и кеды облепили ноги насквозь мокрой тяжестью — до того ярый, неудержимо бешеный был этот ливень с ветром. Под трассами струй, под пушечными раскатами грома мы по скользким настилам побежали к будке лодочника, и тут, в нескольких метрах от берега, нас с такой сатанинской силой настигло копыстное сверканье молнии над головой, с такой мстительной удалью ударил оглушительный разрыв грома, что явственно запахло в воздухе порохом, жженой серой (позднее мой спутник сказал, что он тоже почувствовал этот запах).

В счастливом убежище лодочника было еще двое, захваченных дождем на Волге; один, голый до пояса, загорелый, выжимал снятую рубаху, перекручивая ее сильными руками, другой, посмеиваясь, возбужденно говорил о некоем мудреце, что без плаща остался рыбалить, махнув рукой на ливень, и что с десятков ершишек у него на кукане есть.

В будке, заставленной веслами, моторами, в этой темной тесноте пахло теплым хлебом, даже овчиной, как в деревенской избе, ливень неистово сыпал, колотил по крыше, наваливался на оконце, а лодочник разговаривал с двумя своими знакомцами о вчерашней вечерней зарнице, которая по горизонту играла, дождь заманивала, об ершиках в ухе, особенно разваристых, особо вкусных вместе с щукой, на что рыбак, выжимавший рубаху, заметил со знанием дела:

— Щука для тарелки, ершишко для пуза. Конечно, лаврушки не надо в уху. Лаврушка весь вкус отбивает натуральный. С лаврушкой и рыбу не раскушаешь.

— Уха-то хороша из окуня и, ясно-понятно, из судака или из стерлядки — ешь, и прямо губы слипаются. Судак — это, брат ты мой, белая рыба. А лещ — самая паршивая, промежду прочим, рыбешка!

Под неустанные набеги дождевых нахлестов

по крыше и стенам я слушал эти приглушенные голоса, разговоры об ухе, удочках, бреднях, жерлицах и невольно вспоминал о далеком, безвозвратно ушедшем времени и в том времени вспоминал себя, каким был лет сорок назад, когда летний ливень весело загнал нас на Белой в избушку бакенщика, где так же было тепло, тесно, пахло кисловатой овчиной, и разговор был тот же — об ухе, о полуторапудовых сомах, сонно греющихся в солнечных лучах на песчаном дне мелководья, о старых щуках, длиною с весло, что неподвижно стоят на закате в заводях близ коряг и, мудрые, не идут на блесну, о прожорливых глупых окуньках и игривых жерехах, которые в резвости, золотясь в воздухе, на полметра выскакивают из воды перед заходом солнца.

Дождь, река, промокшая одежда, тепло крыши над головой — почему все это повторилось с чувством почти одинаковым? Почему вновь я испытал детское ощущение человеческого доброго приюта в непогоду, под непромокаемой крышей, ощущение бесхитростной людской близости. Лодочник оставил нас в своей будке «переждать облощенный проливень», отказался взять плату за переправу, оттолкнув с улыбкой мою руку: «За каку таку лодку деньги, ежели

наскрозь вымокли вы!», и от этой простоты участия чувство тихой надежды загорелось в моей душе, как в детстве на Белой у бакенщика. Тогда, в детстве, в пору начала жизни, это была неосознанная мальчишеская радость надежды на то, что открытая готовность помощи будет везде и всегда порукой чести и силы всех мужчин, объединенных, понимающих друг друга.

Но сейчас, когда во многом потеряна искренность человеческих отношений, этот отблеск детского умиления поразил меня. И, не однажды познавший лукавство друзей, я долго не мог понять, что произошло со мной в ту августовскую грозу под защитой крыши, гулко и длинно обстреливаемой очередями дождя из низкого дыма туч, в том получасовом сладостном уюте, в окружении тысячелетнего изыаного запаха, мужского разговора об ухе, густого грозового шума, залпов грома, белого озарения молниями луж под оконцем, размытой глины...

Наверное, это были минуты возвращения в романтическую чистоту — мелькнувшая перед памятью тропинка назад, в счастливую далекую веру в людское товарищество, которое уже давно и почасту отдает свое земное место пустоте разочарования.



ОХОТНИК И РЫБАК

Лед сошел недавно, был холодный весенний день, моросил дождь, леса над рекой мокли в тумане. Сквозь серенькую пелену среди желтеющих камышей я различил на другой стороне лодку; человек, согнувшись, делал что-то в ней, и показалось, что это был знакомый по прошлогодней охоте старик бакенщик.

— Здравствуй, бабай! — крикнул я, обрадованный возможной переправе на тот берег, к озерам. — Перевези, пожалуйста, очень благодарен буду!

И тогда не торопясь отозвался в камышах несильный дребезжащий голос:

— Сич-а-ас, маленько жерлица таскаем, прийдем!..

Минут через пять из дождевого туманца отчетливее выделился, завилял к этому берегу весь мокрый, темный ботик-долбленка; малого роста старик, сутулый, седобородый, в ватнике, в войлочной башкирской шапке, стоя на корме,

огребался веслом, внимательно прищурился на меня маленькими, умными, веселыми глазами; потом у самой косы, где я ждал, проворно кинул из лодки на песчаную отмель чалочную цепь, засмеялся.

— Садись, хе-хе... Охотник и рыбак один ведь брат. Сичас вода из лодки бросаем и на тот берег пойдем.

И он принялся консервной банкой вычерпывать воду со дна долбленки, сыро пахнувшей рыбьей чешуей, влажным деревом, а я осторожно оттолкнул посудину, прошел несколько шагов по мелководью, чувствуя через резиновые сапоги еще зимний холод воды, и сел на нос ботика — тот едва не зачерпнул от моей тяжести, увеличенной теплой одеждой, уже намочшей под дождем, и грузом охотничьего снаряжения: двустволка, набитый зарядами патронташ, вещмешок с котелком, продуктами и всякой всячиной. необходимой для ночевки у костра

на лесных озерах. Я сидел в этой легонькой, чуткой долбленке, боясь громко разговаривать, боясь резко шевельнуться невзначай, и держал ружье и вещмешок на коленях, пока неторопливый старик не догреб до противоположного берега.

- Ну, спасибо, бабай. Что стоит это?
- Ничего не надо. Закурить только дай.
- А денег?

— Не надо, хе-хе. Охотник и рыбак один ведь брат.

— Ну как — рыба есть?

— Ни щерта. Плохо идет. Холод.

— А на уху-то есть?

— На уху есть, чать. Охотник и рыбак один ведь брат...

Не эти ли минуты — звездные мгновения моей жизни?



КЛАРА

Рассказ художника

Посвящается дочери Кате

Моя профессия заставляет меня разъезжать по всей стране. Я люблю сходить ночью на маленьких лесных станциях, стоять на безлюдной платформе, слушать отдаленные вздохи уходящего паровоза. Леса спят, и эхо гулко катится по просекам, как в пустых коридорах.

Я люблю шагать по темному лесу и слушать его шорохи, сонные вскрики птиц, попискивание куликов на близких озерах, потом шагать по мягкой пыльной полевой дороге и видеть далекие огоньки на косогорах. Летом они кажутся теплыми, осенью мерцают и дрожат на ветру. Тогда Орион всю ночь горит над лесами в черных омутах глухих озер.

Обычно я поселяюсь на все лето до осени в деревне. Каждое утро встаю на заре и целый день брожу по полянам и лугам.

Я испытываю волнение, когда сумерки застают меня вдали от деревни, на покойных лесных озерах. Я вижу, как рождается ночь. Синий густой сумрак и туман ползут из неподвижной чащи деревьев на воду, и озера засыпают. На западе красноватый отблеск еще теплится, светится возле камышей, а с востока быстро надвигается темнота. И в притаившейся студеной воде уже плавают зеленые звезды. Становится сыро и очень тихо. Только иногда, мелькнув мимо угасающей над лесом поздней зари, на озеро со свистом, с плеском садится стая диких уток.

Я люблю проснуться на сеновале, где обычно сплю, глубокой ночью, почти перед самым рассветом. Мне зябко, я прислушиваюсь и чувствую — в тишине кричат сверчки, к заре похолодало, щели в крыше полны лунного света, и сквозь раскрытый чердак сильно тянет из сада

росистой свежестью. Облитый луной, он словно стынет в синем дыму.

Без всего этого, мне кажется, я не могу жить, и летом всегда работаю в деревне.

И вот однажды мне пришлось поехать не в деревню, а на юг, в санаторий, отдыхать, на прекрасный юг с его жарой, декоративными пальмами и душными бархатными ночами, где нет ни горького запаха кашки на полянах, ни холодных лесных озер, в которых на закатах бьют хвостами пудовые щуки.

Здесь мне нравится и пленяет только море. Это удивительное зрелище. Утром оно лилобое, гладкое как стекло, над ним подымается легкий парок; днем оно ослепительно нежное, синее; вечером быстро темнеет, на горизонте подолгу пылают огромные пожары и тают дымки пароходов, уходящих в этот огненный закат.

Однако мне было скучно на юге, не хватало тут северных лесов, и был я точно одинок без них. И никак не работалось.

Раз, проспав восход, я встал в плохом настроении. Вся палата была залита горячим солнцем, слабый ветерок играл белой занавеской на балконе. Я долго валялся в постели и смотрел на мольберт: вчера начал писать вечернее море. Но этот этюд представился таким ужасающим, что я закурил и подумал сердито: «Надо уезжать, просто безобразия!»

Вдруг я услышал будто бы шелест крыльев, и показалось: что-то черное взъерошенным комом упало за тюлевой занавеской балкона.

Я удивился и вышел на балкон. На перилах сидела нахохлившаяся ворона и одним глазом смело и внимательно поглядывала на меня. С какой целью она прилетела сюда, было

неизвестно. Внизу зеленел санаторный парк, пальмы и кипарисы, за ними — море и пляж, усыпанный телами загорающих: везде был солнечный простор.

— Ты зачем? — сказал я, но ворона ничуть не испугалась моего голоса, взглянула любопытно другим глазом и, кивнув мне, произнесла, вроде знакомясь:

— Кла-ра!

Тогда я усмехнулся, подошел ближе, ворона продолжала сидеть на перилах, только опять нагнула голову, похоже было: она церемонно кланулась.

— Ишь ты! — сказал я. — Ты откуда?

— Кла-ра! — несколько уже недовольно повторила ворона и нетерпеливо трянула хвостом.

Я засмеялся, указал на дверь и пригласил ее:

— А ну заходи ко мне, если ты не боишься.

Не успел это сказать, как ворона прыгнула с перил, отодвинула клювом занавеску и вошла в комнату, стуча по паркету когтями. Я был окончательно удивлен. Паркет оказался так гладко натерт, что ворона, спеша войти, неожиданно поскользнулась, но сейчас же подперлась своим хвостом, как палкой, снова пробормотала с неудовольствием:

— Кла-ра!

Я сразу догадался, что надо делать: быстро взял в ванной мыльницу, сполоснул, поставил ее на пол, накрошил хлеба, потом налил туда молока.

Глядя на мои приготовления, ворона все с нетерпением трясла хвостом, а раз довольно сердито стукнула клювом по мухе, которая села на пол рядом с мыльницей.

— Ну ешь! — весело сказал я и при этом отошел в сторону, чтобы она не стеснялась. Ворона подошла к мыльнице и стала так мотать в клюве хлеб, что во все стороны полетели брызги молока.

— Как тебя звать? — спросил я.

— Кла-ра! — ответила ворона с полным клювом хлеба и посмотрела сбоку презрительно, точно говоря: «Будто и не знаешь!»

— А, Клара! — обрадованно сказал я, но больше вопросов не задавал, сел на стул и начал наблюдать.

Кончив есть, Клара немного подумала, почесала ногой голову и вперевадку заходила по комнате. Она увидела зеркало, радостно каркнула и прошлась возле него туда и назад, как женщина, которая рассматривает себя. Потом она заметила мой шлепанец возле тумбочки, подержала его в клюве и швырнула под кровать. После этого с хозяйственным видом она оттащила мыльницу к дверям балкона.

— Правильно, наводи порядок! — сказал я и засмеялся.

Клара покосилась в мою сторону и вдруг вспрыгнула мне на плечо. Я замер, ожидая, что будет дальше. Клара повозилась на плече, тихонько ущипнула мою шею и стала что-то шептать на ухо.

— Не понимаю, — сказал я растерянно и почувствовал, как она принялась вытягивать за ремешок часы из моего кармана. Часы повисли, сверкая крышкой на солнце. Клара с восторгом каркнула и вытянула голову к часам, будто хотела послушать, и оказалось: ее глаза блестя от любопытства.

Только тогда я понял, что Клара хотела. Я вспомнил рассказы о том, что вороны, как и сороки, любят блестящие предметы. Я сконфузился и спрятал часы в карман, чтобы не было обиды. Тогда Клара вспрыгнула мне на голову, потопталась, начала клювом перебирать мои волосы и, сделав какую-то прическу, довольная, прыгнула на пол, подошла к мыльнице и оглянулась умоляюще.

— Кр-расота! — каркнула она.

Сомнений не было: она выключивала у меня мыльницу.

— Ну, Клара, — сказал я. — А как же я буду бриться?

Клара, наверное, обиделась и тут же заспешила, вышла на балкон.

Я в раздумье смотрел, как она летела над санаторным парком, и было непонятно: откуда здесь появилась эта ручная ворона. Никогда в жизни ручных ворон я не встречал. Они всегда казались мне сердитыми и угрюмыми птицами.

Перед завтраком я пошел на пляж, чтобы купаться в утреннем море. Лежал на теплом песке, слушал шелест волн, нежный звон гальки, которую катала возле берега зеленая морская вода, и думал, что у нас на севере Клара не стала бы такой ручной. Там было лесное раздолье, огромные поля, там она гнездилась на осинах и березах. Как она попала на юг?

Внезапно я услышал рядом с собой разговор. Один из загорающих на пляже говорил другому, чтобы тот не клал запонки и особенно часы на видном месте, так как здесь, в санатории, появилась какая-то ужасная ворона. Она все ворует, вчера на глазах стащила у соседа по столовой булавку от галстука, которую он положил на подоконник.

— Здесь, говорят, дрессировщик в нашем санатории, слышали? — сказал он и назвал мою палату.

— Да он давно уехал, — сказал другой.

И я догадался, каким образом появилась здесь Клара.

А на следующее утро опять послышался шорох крыльев на балконе, и я, обрадованный,

увидел, как, отодвинув занавеску, моя знакомая Клара процокала по паркету в комнату и, как вчера, здороваясь, вежливо наклонила голову, на всякий случай представилась вторично: «Кла-ра!» — и разрешила себя погладить.

— Доброе утро! — сказал я приветливо. — Можете проходить и завтракать. Вам все готово.

Я действительно Клару ожидал и все приготовил. Пока она завтракала, я сел к мольберту и быстро набросал ее с особым удовольствием, потому что она была жительницей северных лесов, по которым скучала душа.

А Клара кончила есть, взобралась на мое плечо и, пощелкивая клювом, вкрадчиво зашептала что-то на ухо: или благодарила, или, как давеча, выклянчивала мыльницу. Но тотчас заметила рисунок, перебралась на стул перед мольбертом, в удивлении вытянула шею и то одним глазом, то другим принялась разглядывать. Вдруг перья ее взъерошились, она рассерженно стукнула крылом по мольберту и неистово затрясла хвостом.

— Брр-рак! — заругалась она. — Др-рянь! Вр-рань!..

Я обиделся. Критика мне не понравилась.

— Почему? Нет, Клара, ты ничего не понимаешь!

— Др-рянь! — продолжала ругаться Клара.

Она спрыгнула на пол и с серьезным видом зашагала к мыльнице, на ходу восторженно произнесла: «Кр-расота!» — и поволокла мыльницу к балкону, пятясь.

Я все понял: Клара воспринимала искусство по-своему. И не стал с ней спорить, улыбнулся и сказал:

— Ну, Клара, ты права, и мыльница хороша, но все же ее оставь, я не могу ходить небритым.

Когда Клара улетела, я целый час сидел перед мольбертом, так и сяк смотрел на рисунок и, неудовлетворенный, чесал лоб и вздыхал: «Нет, надо уезжать скорее на север, надо уезжать!»

Наша дружба с Кларой продолжалась. Мы привязались друг к другу, и, если она запаздывала, не прилетала утром на завтрак, я скучал, мне чего-то недоставало.

Однажды вечером разразилась сильная буря. Огромные волны неслись на берег, с грохотом разбивались о скалы; казалось, стреляли орудия. Наш санаторий, расположенный на скале, дрожал от этих залпов. Лил дождь. Весь парк глухо шумел внизу. Над морем среди небесной тьмы скользили молнии. В санаторном корпусе то там, то тут звенели разбитые стекла.

Я стоял около закрытых дверей балкона, наблюдал за разбушевавшимся внизу морем и с тревогой вспоминал о Кларе при каждой

вспышке молнии, поеживаясь, представлял, как ей тяжело приходится сейчас. Только в одиннадцатом часу разобрал постель и беспокойно задремал под грохот моря.

Сквозь дремоту мне послышалось, вроде чудилось невнятное постукивание в дверь балкона, и, мгновенно подняв голову, я прислушался. Сначала показалось, что это резкий дождь колотит по стеклам. Но стук уже яснее повторился, громкий, требовательный стук. Я вскочил, бросился к двери и торопливо открыл ее. Вместе с дождем и ветром в комнату, запутавшись в занавеске, ворвалась Клара, мокрая, взъерошенная, злая. Она выпуталась из занавески, оскользнулась на паркете и закричала: «Бур-ря!»

Я засмеялся от радости, стал гладить ее, намочшую, возбужденную, успокаивать, но она была чрезвычайно сердита; видно, промерзла на дожде и ветру и долго жаловалась и ворчала, ходя по углам. Наконец я лег, а Клара сразу же села на спинку кровати, в моих ногах, нахохлясь, закрыла глаза и среди ночи несколько раз вскрикивала спросонок при громе и блеске молний.

Утром проснулся от какого-то шума в комнате. Оказывается, ко мне вошла палатная сестра, и с ней увязался санаторный котенок. Увидев его, Клара ревниво подскочила к нему и так долбанула клювом по голове, что котенок с визгливым мявом, прижав уши, выкатился за дверь, едва не сбив с ног сестру.

— Др-рянь! — ворчала Клара, видимо не любившая кошек. — Ка-акая др-рянь!

Я пожурил ее за невежливое поведение, однако Клара успокоилась лишь тогда, когда подошла к блестящей мыльнице и победно прокаркала: «Кр-расота!»

Через несколько дней я должен был уезжать. В тот день отъезда, как и всегда, Клара позавтракала, потом с заискиванием выпрашивала мыльницу, дружески пощипывая меня за ухо, а я грустно глядел на свои чемоданы — и возникла мысль, не взять ли Клару с собой, но неизвестно было, как все-таки доведу ее до Москвы. А Клара будто понимала, что я уезжаю, и была особенно нежна со мной: после завтрака не хотела улетать и, вроде бы желая сделать приятное, залезла мне на голову и тихо перебирала волосы. Я первый раз взял Клару в руки — у нее часто стучало сердце, — посадил на стол перед собой.

— Прощай, Клара, — сказал я, — уезжаю...

— Грустно! — сказала Клара. — Грустно! И ласково пожала клювом мой палец.

— Поедешь со мной? — спросил я растроганно. — А? Поедешь на север?

Клара молчала.

Я вздохнул, взял свой чемодан, затем вспомнил, раскрыл его и достал мыльницу и старые запонки. Все это я оставил на балконе. Клара по-прежнему молчала и не двигалась. Она сидела подле упакованного мольберта и смотрела на меня черными умными глазами.

— Что ж, — сказал я, — ты понимаешь искусство односторонне. Возьми, это твое.

И начал спускаться по лестнице в вестибюль. Клара — следом, прыгая через ступени.

Около дверей вестибюля, жмурясь на солнце, зевал заспанный котенок, и Клара так

злобно повернулась в его сторону, что котенок, не дозевав, в ужасе шарханулся, и как сумасшедший, шмыгнул в кусты пыльных акаций.

Я последний раз погладил Клару и залез в автобус, а она села на пальму и, пристально вглядываясь оттуда, кивала мне.

— Прощай, Клара, — сказал я, помахал рукой и отвернулся.

Потом многие пассажиры говорили, что Клара до ворот санатория летела за автобусом и тоскливо кричала.



ЧАСТИЦА ОТ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Что есть женская красота? Правильные черты? Линии фигуры? Взгляд? Походка? Кто может ответить: что вызывает нашу любовь?

По крайней мере, я до сих пор испытываю некое счастливое чувство, вспоминая летнее утро в далекой поре отрочества, когда в первый раз увидел ее на дачной террасе, заросшей сиренью. Она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала — прохладная тень пятнистой сеткой скользила по страницам, по ее молодым открытым коленям, и они особенно бросились мне в глаза, как только я взбежал из сада на террасу. До запаха травы помню это чудесное утро начала лета, посвистывание скворцов в зелени листы, нежное поскрипывание качалки и вот эти обласканные солнцем и тенью круглые колени, на которых имела право лежать книга, прикасаясь к женскому телесному теплу. И помню, мысль о ласковом тепле ее ног тогда ожгла меня чувством какой-то порочной чистоты этой таинственной незнакомки, приехавшей к нам на дачу вместе со светловолосым молодым человеком.

А он, молодой человек, носил хорошо выглаженные чесучевые брюки, шелковую спортивную майку, и, не знаю почему, я сразу почувствовал горькую боль ревности к его физической силе, великолепной его походке, самоуверенной улыбке, показывающей чистоплотные зубы, а когда в тот же день, на закате, увидел, как он играл на дачной площадке в волейбол — мастерски подавая мяч, пасовал, гасил, блокировал, высоко прыгал, изгибаясь большим натренированным телом, когда я увидел, как она, играя с ним возле сетки, шутливо, смеясь, вы-

терла платочком пот с его лба, то ощутил вдруг уже не ревность, а нечто подобное непримиримой ненависти к нему.

В ту же ночь меня разбудил тихий свист. Так на даче вечерами мои загородные приятели подавали сигнал за садовым забором, вызывая из дома условленным этим звуком. Я спал на раскладушке в угловой комнатке, тесной, жаркой, с закрытым окном, спасаясь в духоте от злых полчищ июньских комаров. Но, услышав сквозь сон призывное посвистывание, вскочил с постели, распахнул озаренную луной половинку окна и, предполагая ночную рыбалку на ближнем озерах, дважды отозвался утиным криканьем, что означало: «Слышу, сейчас выхожу для переговоров!» Однако не успел я закрыть окно, натянуть рубаху, как опять послышался вторичный сигнал — и вместе с теплой сыростью травы вполз в мою комнатку из лунного сада вкрадчивый звук шагов, похрустыванья веточек где-то вблизи дома. Все не совпадало с условным вызовом, и, удивленный, я осторожно вгляделся в обмытые синеватым воздухом заросли сирени, а там, совсем рядом с домом, на миг зажегся и погас желтый свет ручного фонарика, и показалось — дошел оттуда сдавленный веселый шепот:

— Эй, на мансарде, соня несчастный, не смейте спать в такую ночь. Немедленно спускайтесь в сад, я приказываю вам, слышите?

И тут я увидел ее: это она, оказывается, посвистывала в саду, ходила под яблонями и снизу озорно сигналила в окошечко мансарды ручным фонариком тому светловолосому волейбольному богу, что ослепил нас в сегодняшней игре

своей мужественной красотой вылепленного торса и смедым сверканьем ровных зубов.

А дальше, наверное, я стал невольным свидетелем того, что знать мне в пору моего отческого возраста никак уж не нужно было, поэтому ночь эта запомнилась на всю жизнь. Тихонько отзываясь, он спустился к ней в накинутах на плечи пиджаке, в белых брюках, обнял ее; она же, удивленно, по-мальчишески присвистнув, обвила его шею руками, засмеялась, с закрытыми глазами подтянулась на цыпочках, а зажженный фонарик касался ветвей яблонь, насквозь просвечивал над его головой листву, пронизывал спящей яркостью.

— Слушай, — сказала она, отрываясь от него и как-то шутливо, напряженно водя пальцем по его груди, — так ты не возьмешь меня замуж? Я ведь хорошая...

— Возьму, пожалуй, — ответил он с усмешкой. — Только не навсегда. Я бедный инженер со скромными возможностями. Что же я буду делать с тобой?

— Как что? Ты будешь меня любить, а я буду утром готовить тебе кофе... Ну а вечером читать тебе вслух героические романы. Это плохо для тебя?

— О, с милым и в шалаше рай? Но у меня и шалаша-то своего нет. Все — чужие. Так что ж я буду делать с тобой, чужим, драгоценным сегоглазым сувениром? Что? А?

— Ну, конечно, любить. Ведь я теперь кое-что знаю. Мой бывший муж говорил, что у меня есть частичка от идеальной женщины.

— Интересно, какая же это частичка?

— Не имею права тебе об этом говорить... Во-первых, было бы слишком, во-вторых, не хочу себя обезоруживать...

— А все-таки? Очень любопытно. Пожалуйста, а?

— Как это тебе сказать? Ну ладно, все равно... Он говорил, что идеальная женщина должна быть милой шалуньей... Достоинство, которого у меня абсолютно не было, когда мы оставались вдвоем. Я трусила, я не могла преодолеть чувства стыда. Я дрожала как мышь. Ох, ужасно, ужасно быть этой шалуньей!..

— А со мной? Тоже ужасно?

— С тобой? Что с тобой? Как с тобой? За чем с тобой? Сама не знаю, что с тобой...

— А ты попробуй быть шалуньей, — сказал он с ласковой небрежностью и бросил свой пиджак на траву под яблоню. — Ты сможешь? А?

Она свистнула пытающимися засмеяться губами, осветила ему в грудь фонариком, а он опустил ее руку вместе с фонариком книзу, и на минуту я увидел в теплом световом луче белую расклевенную юбку, колени, увидел, как она опять привсталала на цыпочки, вся потянув-

шись навстречу его губам, — и тут я едва не заплакал, едва не задохнулся от тоскливой ревности, от любви к ней, к ее голосу, смеху, к этому направленному в землю лучу фонарика, осветившему траву, пиджак, ее белую юбку и его белые брюки (это было модно в 30-х годах); затем я расслышал насмешливый ее шепот:

— Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой прямо здесь, под яблонями?

— Разве дорогой сувенир или драгоценность могут быть женой? В каком футляре с бархатом тебя хранить? И как любить тебя? Для этого надо быть ювелиром. Я не смогу.

Она дерзко осветила фонариком ему в лицо. Он улыбнулся, блеснули зубы.

— Странно, — сказала она через меру звонким прелестным голосом. — Я тебя, конечно, люблю, но... в той же мере и ненавижу!

— Милая, это достоевщина, два чувства в едином, — отозвался он просто и весело. — Ты сегодня целый день читала Федора Михайловича. Он портит настроение надолго.

— Я люблю рыцарские романы, а не Достоевского.

— Ради бога, не будем говорить об умном. Где же твое шаловство?

Он взял у нее фонарик, выключил свет, легонько отшвырнул фонарик в траву, затем с мягкой снисходительностью охватил ее талию, и снова я увидел, как она потянулась к нему, к его губам, но в лунном сумраке, мне казалось, я угадывал неясное болезненное выражение на ее лице, в изгибе ее бровей. Он целовал так долго, так неотрывно мучительно, что она застонала, отклонилась назад, а он стал растегивать на ней кофточку, одновременно будто казня, истязая своим ртом нежную белизну ее полной обнажившейся груди, которую я впервые в жизни видел сейчас так бесстыдно. Горячие слезы неизъяснимого горя душили меня, застилали пеленой глаза, и внезапно помимо воли из моего горла вырвался глухой отрывистый всхлип. Я рывком кинулся к постели, упал лицом вниз на подушку и, вытирая о подушку мокрые щеки, захлебнулся жаркими беспричинными рыданиями. Так сладостно, отрешенно, в неизбывном одиночестве, когда, мнилось, кончалось все, плакал я только в детстве.

Однако через некоторое время я вскочил с постели, испугавшись, что они услышат мой плач, и выглянул в окно, за которым воздух побелел к рассвету, сразу мертвым разжиженный сонный свет луны, сквозивший меж деревьями; и весь сад, яблони, дорожки в траве вокруг клумбы проступали в темно-серой неподвижной проявленности.

Я увидел ее в тот момент, когда она медленно и пьяно подошла к забору, сплошь

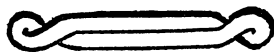
заросшему старой буйной сиренью, постояла там, поправляя волосы, потом наклонила куст и сорвала веточку. Куст упруго выпрямился, обдал ее холодным дождем росы, и она, подняв лицо, страдальчески изогнув шею, начала трясти, как в дурмане, ветви сирени, словно умываясь этим дождем, свежестью влаги, смывая с лица, с прикушенных губ липкую паутину. А он стоял под яблонями в накинутом на плечи пиджаке, вертел в руках незажженный фонарик, неопределенно усмехался и молчал.

Утром они уехали, и никогда позже я не встречал их. Когда я вернулся с войны, кто-то из семейных знакомых сообщил однажды, что она умерла в эвакуации.

Но до сих пор помню ощущение несправедливой обиды, горькой безнадежности, как если бы она, эта юная озорная женщина, утром осветившая нашу дачу солнечной чистотой, непорочно обманула меня в чем-то особо тайном,

святом, совсем не подозревая, что не он, самонадеянный белобрючный циник, а я мог бы полюбить ее больше жизни, жалеть, защищать, оберегать от грубости. Такое оголенное ощущение неразделенности любви, пожалуй, щадит человека взрослого. Была ли она красива? А разве мы знаем истинность и сущность красоты? После ее отъезда я жил будто в тумане, порой даже плакал по ночам, испытывая адскую муку ревности, которая не находит никакого выхода в первой любви: в тот год мне исполнилось двенадцать.

Теперь жизнь моя прожита, ее уже давно нет на белом свете, а время омыло прошлое многими водами. И теперь в полном сиянии женственности и белой безгрешной чистоты я вижу то прелестное летнее утро и ее, мою первую любовь: она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала; пятнистая тень лежала на раскрытой книге, на ее коленях...



В ОСЕННИЕ НОЧИ

Время уже тронуло память — потускнели детали, полузабыты лица погибших, не так остро ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, уже не сдавливает горло ядовито-луковая вонь стреляных гильз, ты не пригибаешься инстинктивно на улице при отдаленном звуке отбойного молотка, напоминающем бой крупнокалиберного пулемета, при вспышках праздничных ракет над крышами домов не рвется из горла невольный крик: «Ложись!», уже не выискиваешь привычно взглядом место на углу, возле аптеки или универсага (место для огневой позиции с широким сектором обстрела); а случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в памяти черные контуры разбитых домов, печную гарь дымящихся развалин, обугленные сады, плач в темноте.

Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошел в сознание — мир с бескомпромиссным утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбусов и треском электросварки на каркасах строящихся домов, с запахом по утрам свежих газет и уютной на рассвете возней голубей на карнизах.

И все же в темные осенние ночи под глухо

булькающий звук где-то по небесным этажам летающего самолета иногда снятся беспокойные сны, и ты, вскакивая в темноте, прислушиваясь к тишине дома, к удаляющемуся шороху промчавшегося мимо окон позднего такси, поражаешься безмолвию и мучительно вспоминаешь сон, и все вдруг приближенно и отчетливо возникает перед глазами, как будто было вчера.

Махровые зарева, горящие на полнеба, железный скрежет шестиствольного миномета, битое стекло на багровых мостовых, дома, как великаны с развороченной грудью, падающие на площадях... Город одичало пуст, безлюден, мертво и сине стоит огромная луна над зловещими развалинами, над черными провалами траншей. И где-то в этом мертвом пространстве — не в домах, не в окопах, а где-то между небом и землей — одинокий крик человека, одинокий призывающий голос боли...

Сон это или реальность?

Нет, мне не хотелось бы видеть подобные сны и не хотелось бы, чтобы нечто похожее снилось последующим поколениям.

Однако в мире еще существует страшное оружие, могущее стереть с лица земли целые государства. Расстояния океанов, территориаль-

ные пространства преодолеваются в мгновения — наша планета может содрогнуться, закипеть всеуничтожающим пламенем грибовидных пожаров лишь от нажатия кнопки. Если это слу-

чится, то самые страшные сны будут сниться на других планетах как неизбежное сожаление о гибели самого ценного феномена на Земле — человека...



ПРОШЛОЕ

Порой, воссоздавая прошлое, мы уверены, что пишем только историю, на самом же деле осмысливаем или пытаемся осмыслить минувшее в современной действительности, которая является главным душеприказчиком и судьей. Прошлое ушло и стало прожитым и пережитым, то есть частью духовного человеческого опыта. Настоящее — вещественно, предметно, материально, однако оно еще не закреплено памятью для сохранения, оно постоянно перед глазами и останавливает на себе мимолетное внимание: удивит, обрадует, встревожит, оставляя надежду увидеть все это завтра, послезавтра, через несколько дней...

Прошлое нельзя вернуть, оно лишь может повториться в воображении — и, только отдаляясь и отдаляясь назад, отдельные куски жизни восстанавливаются иногда особенно ярко в памяти. И тогда овекает нас ветерком молодой радости или пронизывает сквознячком скорби. Не только литературным героям снятся зали-

тые июньским солнцем пчелиные ульи среди благодатно теплого сада под Тамбовом, либо запаха нагретых яблонь, густых и горячих трав Украины в тот воскресный день за несколько часов до первых выстрелов сорок первого года, либо синие снега Сибири, либо прохладная каменная стена, увитая плющом, освещенная утренним солнцем, пахнущим весенним счастьем Победы...

Поднимаясь по ступеням своих лет, человек накапливает ощущения неповторимости прожитого им, а соединение былого с современностью и словно бы повторное обретение ушедшего силой чувственной памяти рождает художественное познание окружающего мира и себя в нем как разумной частицы сущего.

Если возможно согласиться, что роман — это вымысел, то надо обязательно уточнить: вымысел, вылепленный памятью из самой действительности.



МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИЯ

Что же руководит миром и всеми нами? Может быть, это раскаленная бездна звезды в центре вселенной или ослепительная чернота, поглощающая в утробе своей расплавленные тела созвездий и целые галактики? Может быть, именно эта наивысшая власть дает законы мировому движению, определяет все начала и концы, жизнь и смерть, вращение Земли, рождение и гибель человечества, подобно тому, как зем-

ная природа создает в лесах муравейники и предопределяет их последнюю секунду, уже в самое рождение вкладывая срок конечный?

Немыслимо представить бесконечное пространство вселенной огнедышащие ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих все в страшном гигантском вихре, вспышки взрывающихся звезд, ливни огненной карусели, и где-то среди таинственной тьмы, на

каком-то пересечении космических осей координат летит, вращается слабая пылинка — Земля, которой наивысшая сила великого мироустройства сообщила определенную энергию, задачу и срок существования согласно общим законам вселенского механизма.

Невозможно согласиться, что в ее рождении уже заложен последний миг прощания, что смерть — нерасторжимая уже тень жизни, неразлучный ее спутник в солнечные дни радости, любви, молодости, успеха, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее роковая тень. Вечность — это бесконечное время, и вместе с тем нет времени у вечности.

Если долголетие Земли — лишь мгновение микроскопической крупинки мировой энергии, то жизнь человека — мгновение наикратчайшего мгновения.

26 января 1976 года в северном полушарии неба взорвалась звезда размером с наше Солнце, и загадочный гигантский взрыв продлился всего сорок минут, выплеснув в пространство такое количество энергии, которой хватило бы Земле и нам, грешным, на миллиард лет. Никому не известно, с чем был связан этот взрыв — со смертью или рождением новой звезды, или, может быть, агония стала рождением, или, может быть, было непостижимое высвобождение ядерной энергии, гибель звезды, ее превращение в черную дыру, необычайной плотности небесное тело, которому в предназначенный миг тоже суждено взорваться и умереть, смертью своей образуя совсем уж загадочную белую дыру.

Кто точно ответит, каким законам, каким силам вселенной подчинена стихия и эволюция, периоды жизни и час смерти, рычаги превращения жизни в смерть и смерти в жизнь?

Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не девятьсот лет, а семьдесят (по Библии), почему так молниеносна, быстро течет молодость и почему так длительна старость. Мы не сможем найти ответа и на то, что подчас добро и зло невозможно отъединить, как причину от следствия. Как это ни горько, однако не стоит и переоценивать понимание человеком своего места на земле — большинству людей не дано познать смысл бытия, смысл собственной жизни. Ведь нужно прожить весь данный тебе срок, чтобы иметь основания сказать,

правильно ли ты жил. Как иначе осмыслить это? Умозрительным построением возможностей и назидательных предопределений?

Но человек не хочет согласиться с тем, что он только мизерная крупинка пылинки-Земли, невидимая с космических высот, и, не познав себя, дерзостно уверен, что может постичь тайны, законы мироздания и, конечно, подчинить их повседневной пользе.

Знает ли человек, что он обречен?.. Беспокойная эта мысль лишь тенью мелькает в его сознании, он отстраняет ее, он защищает, успокаивается надеждой — ведь роковое, неизбежное, не случится завтра, еще есть время, еще есть десять лет, пять лет, два года, год, несколько месяцев...

Он не хочет расставаться с жизнью, хотя она у большинства людей состоит не из великих страданий и великих радостей, а из запаха рабочего пота и простеньких плотских удовольствий. При всем этом многие люди отделены друг от друга бездонными провалами, и только тоненькие жердочки любви и искусства, то и дело ломающиеся, соединяют их иногда.

И все же сознание человека, наделенного трезвым умом и воображением, вмещает и всю вселенную, ее ледяную жуть звездных сошедшихся таинств, и личную трагедию закономерной случайности рождения на свет и краткосрочности жизни. Но и это почему-то не вызывает отчаяния, не придает его поступкам бессмысленной тщетности, подобно тому, как не прекращают неутомимой деятельности и мудрые муравьи, озабоченные, видимо, одной полезной необходимостью ее. Человеку мнится, что он обладает наивысшей властью на Земле и поэтому он убежден, что бессмертен. Он надолго не задумывается о том, что лето сменяется осенью, молодость — старостью и даже ярчайшие звезды гаснут. В его убежденности — пружины движения, энергии, действия, страстей. В его гордыне — легкомыслие зрителя, уверенного, что занимательный фильм жизни будет длиться непрерывно.

Не преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать мгновения мгновений бытия, в надежде передать человеку чужой опыт разума и опыт чувства и таким образом остаться бессмертным?

Но без этого убеждения нет идеи человека и нет искусства.



ПРОВОДНИКИ

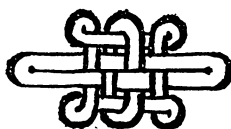
— Возможно ли открыть новую художественную истину в современном мире?

— Было бы самонадеянностью ответить положительно на этот вопрос, ибо все чаще и чаще мы убеждаемся в том, что главные открытия в чувствах и мыслях уже были сделаны великими гениями предшествующих эпох. Если, к примеру, Делакруа вдохновлялся Рубенсом, этим Гомером живописи, а Стендаль сухим стилем кодекса Наполеона, а Эдуард Манэ просто заимствовал композицию Рафаэля, Гойи, Веласкеса, если русская литература испытывала влияние французской и английской, а мировая литература подверглась влиянию русской, все же, вместе взятые, они долго поклонялись греческому искусству, шедеврам античности. Если это так, если в истоках сразу же возникли непревзойденные художественные образцы, то не были ли Софокл, Гомер, Босх, Микеланджело, Гете, Толстой избранниками, проводниками мирового идеала? Не им ли, исключительным ти-

танам, выпала задача в родах и муках передать людям мятежные чувства и мысли, попытаться помочь им открыть свою душу и смысл бытия? Так или иначе человечество не познало себя до конца и ждет новых, божественных талантов, которые приоткроют еще часть красоты, доброты и безобразия мира. Добавлю, что все гении — созидатели, борцы, проповедники, мученики истины. Не несут ли они в себе отражение могучей силы и мозга вселенной?

— А кто мы, не титаны, а смертные? Муравьи? Микробы какие-нибудь? Пустые сосуды? В ваших рассуждениях, профессор, есть странная вера в некие высшие силы избранных. Что это? Оттенок идеализма?

— Не опасайтесь, доцент, это вера в человеческий разум. Нельзя завидовать таланту и гению, как нельзя завидовать солнцу. Н-да! Человечеству Моцарты, Моцарты нужны, дорогой мой Сальери!



ВОПРОСЫ

Кто же такой писатель в современном мире? Бесстрастный протоколист? Фантазер? Изощренный остроумец? Или это создатель «порнопроекций на плоскости», вызывающих восторги слабоумия, которые являют великолепные образцы раскрепощенной пошлости? Да может ли писатель сказать что-либо вообще человеку индустриальной эры? И что должна делать литература в век жестокосердия — учить людей кусаться или протягивать руку помощи друг другу? Способна ли она, литература, взять на себя ответственность за судьбу человека и человеческой нравственности или мы, вспомнив томас-манновский «фаустизм», решимся сказать, что, приобретя сытое благополучие, удобства комфорта, человек отдаст взамен энергию своего духа и хочет видеть реальность только в рамке развлекательных символов и наркотических снов?

Неужели развитие цивилизации все подчиняет товарной выгоде, деньгам, и неужели боги мертвы, вера исчезла, все идеалы — покойники,

человеколюбие — абсурд? Пожалуй, никто из западных художников не сомневается, что урбанистическое общество с его гонкой вооружений, культом секса, насилия, древнеримской вседозволенностью потребляет не только предметный комфорт, но и людей, их души. Исчезает главное, поэтому жизнь — малоутешительная картина, ибо она безрадостный конвейер, а люди — лишь заменяемые детали скучнейшего механизма, смазанные маслами равнодушия и всеобщего эгоизма. Неужели литература станет отрицать, что жизнь не бессмысленна, если безмерное человеческое мужество лежит в одной брачной постели с конформистской подлостью?

Не в 50-х ли годах начали разрушаться старые ценности, устои этики, не тогда ли стали появляться зловещие признаки усталого равнодушия и сердитого несогласия, в 60-е годы уже перераставших в злой нигилизм, в выплески жестокости, эпидемию убийств, в свою очередь

рождавших в 70-х годах союз сюрреалистических ужасов и кошмарных фантазий.

Кто виноват? Технологическая цивилизация?

Может быть, поэтому движение литературы шло от критики действительности и трагедии личности до отчуждения, черного юмора и порнографии, до невысказанно бесстыдной славы литературных жрецов пороков.

А что же реализм? «Новые критики» и «новые гении» устраивали ему похороны по первому разряду, о реализме было говорить совсем уж неприлично, оскорбительно, его осмеивали, — этот реалистический роман, этот эстетический анахронизм был наказан, жил в ссылке. Какой в наше время реализм и какой человек? Это что — старомодный поцелуй с первоосновами бытия? Возвращение в «примитивную» сферу психологизма, живого характера, образного мышления? Не освобождение ли бессознательного создает новую психологическую модель личности? Разве не известно, что сюрреализм подтверждает иллюзорность людского существования: человек живет действительной жизнью лишь во сне, а его сны — это бодрствование?

Западные художники утверждают с горечью или же с бесстрастностью, что парадный портрет буржуазного мира чрезвычайно полинял. Нам же не без оснований кажется, что он подмочен мировыми дождями, его черты потускнели, покрылись пушком плесени и пятнами затеков, подозрительно похожими на багровые следы крови. И мы слышим, как апологеты капитализма, люди отнюдь не глупые, с сардоническим хохотом кричат, что вообще история — это скандал, который продолжается десять тысяч лет, и так крича и плача качают на руках итальянскую писательницу Эльзу Моранте вместе с ее нашумевшим романом «История».

Где же идеи человеколюбия, свободы, правды?

Где вера в возрождение планетарного человека, гомо героика? Неужели реальность «цивилизации сверхпотребления» подсказывает литературе жалких нивелированных ею людей с нивелированным миропониманием в современном сверхгосударстве, где отчаяние живет в обнимку с позитивистским скептицизмом? Может ли сейчас быть распят Иисус Христос, за все грехи земные, когда люди уже сами

распяли себя на древе бездумности, самонадеянности и буйствующей плоти?

Это что — постмодернизм? Или реализм? В чем же тогда смысл идеи человека? Где же хранители спасительной от разврата духа мудрости, защитники и поборники «вечных идеалов»? И есть ли они в этом мире?

Они есть. В современном искусстве заряд нравственного «насилия» и «истязания» (да, нравственного истязания, по Толстому и Достоевскому) является массовидным средством воздействия, которое ведет к очищению человека. При всем бездонном жизнелюбии только трагическое мироощущение художника может потрясти и обновить душу, эта остановленная секунда жизни между прошлым и будущим, между минувшим и наступающим, еще не потерявшим надежду на облегчение.

И прекрасное, и безобразное одинаково заразительны. Литература — это монолог о человеке, а не об «одиноким толпе», о человеческой душе, которая постоянно стремится к общению. Правда — всегда живая материя. Ложь всегда мертва, как бы ни была она энергична, действительна.

Сила и призвание художника в служении людям. Но для этого надобно сойти с борта гибельного неверия на континент человечности и найти в огромном мире себя, как Он и Она случайно или закономерно находят друг друга. След человека, «космического зверя», теряется не в тумане галактик, а в исходном добром разуме, в любви к женщине, а значит — к детям, к красоте сущего, к матери-природе.

Слово «жил» для каждого художника должно означать «любил», несмотря на то что мы, писатели XX века, жили в век героизма и расчета и не гуляли, как кошка Киплинга, сами по себе. Мы хотели быть в искренних отношениях с правдой истории, в силу личного опыта и убеждений отвергая формулу об абсолютной автономности творчества, так сказать, независимого от революционных процессов.

Да, литература отстаивает в человеке вечное и возвышает его над смертью.

Во всяком большом художнике лишь толика правды своего народа, в великом гении — правда общечеловеческая.

Творчество — не лучшая ли это часть нашей жизни?

Что больше объединяет людей — любовь или искусство? Не синонимы ли это?



ПОЭЗИЯ

Во всяком поэте погасла бы сама поэзия, если бы он не был убежден, что даже от одного хорошего человека мир становится лучше. Не здесь ли следует искать ключ к воротам таинственного сада словесности, издавна поражающего людей красотой своих плодов?

Что ж, поэзия — это изначальный феномен, она родилась под горячим солнцем, и до сих пор слово художника является солнцесным, ибо несет энергию света, лучи добра, которое строит мосты от понятия «Я» к понятию «МЫ», от понятия «МЫ» к понятию «Я», объединяя острова чувств в континенты ожидания и надежды.

Однако в поэзии все зависит от формы выражения, эта форма может исказить слово, сделать его фальшивым, ложным или сообщить через него истину.

При любви к парадоксам можно, конечно, обрадоваться алогичной формуле: «Слова, выразившие мысль, мертвы». Но все-таки, видя эти пустые вагоны, высадившие пассажиров на станции назначения, мне хотелось бы сказать, что слово — это своего рода Ноев ковчег, спасающий мысль для ее нового рождения, для продолжения жизни всего искусства. Мир, отраженный, растворенный и вторично рожденный в слове, становится вещным и вечным, так как в слово впечатана человеческая память, несущая прошлое мира, всю историю его — состоявшуюся и несостоявшуюся, — мгновения настоящей действительности, тоже через срок определенный уходящие в прошлое, чтобы стать уже историей.

Поэзии более всего противопоказана одномерность, она сутью своей отрицает слова, наполненные лишь ветром, поэзия — это не зеркальное отражение и не буквальное воспроизведение, а ярчайшая метафора действительности, не имеющая ничего общего с репортажем факта из очереди повседневных происшествий.

Настоящее — это закрепленные сознанием моменты правды, которую можно измерить и оценить по разным этажам ощущений. И в этом поэзия утверждает великий закон человеческого существования, веру в то, что ни история народов, ни история их чувств не исчезнут в никуда.

Порой нам кажется, что настоящее подобно вокзальным впечатлениям — неостановимый в своей заданности ритм будней, мелькание лиц, обрывки разговоров, вращающаяся карусель суток, дней, конвейер месяцев и лет — почасту внимание только скользит по этому движению, и способен ли обремененный заботами человек многое оценить, почувствовать, осмыслить?

Литература, в первую очередь поэзия, обладает способностью на время как бы остановить конвейер быстротечной реальности и взглянуть в детали его, которые и есть неповторимые подробности жизни, — и тогда вы внезапно увидите мировой покой звездного неба, над электрическим сиянием улиц услышите влажный верховой февральский шум в проводах, почувствуете осевший предвесенний снежок под деревьями бульвара, и глаза человека, и одинокую женщину на стоянке такси, придерживающую на ветру полу плащика...

Восстановление уходящего или ушедшего, повторное обретение его силой чувственной и мудрой памяти в союзе с воображением рождает художественное познание и нашего бытия, и нашего бурного быта.

Как известно, понятие «художник» происходит от древнерусского слова «худое», имевшего прежде значение чудесности, колдовства, волшебства. Какие бы социальные земные проблемы ни впитывала в себя поэзия, она всегда должна быть или радостью, или болью прикосновения к жизни, к тайне прекрасного, делающих человека мужественнее, влюбленнее.

Думал обо всем этом, читая «Соловьи» Михаила Дудина.



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Однажды в мастерской художника-пейзажиста я долго не мог оторваться от его акварелей, написанных летом в средней России. Глубокие чащи, наполненные томительной духотой жаркого июльского полдня; редкий ельник, окутанный тончайшей осенней паутиной; теплые, залитые солнцем поляны, как будто мягко обдающие запахом нагретой травы; свежие лесные утра; дуга в низине с закатным огнем в извивающей засыпающей реки; село на берегу в золотистой дымке близкого вечера, тихого, в ожидании первых зеленых звезд над крышами.

Вокруг этих работ среди нас возник непредполагаемый спор, ибо одни принимали их полностью, другие, как говорится, наполовину. Представители «половины» упрекали пейзажиста в том, что он, родившийся в деревне, воспекает «нутрянную» связь свою с природой, которая, однако, в XX веке претерпела значительные изменения: современный практичный человек смотрит на окружающую среду трезво, исходя из потребностей общественного производства.

В этих спорах не было затронуто одно — внутреннее освещение. Что же это такое?

Настоящее искусство — тем искусство, что в нем душа художника светится как бы изнутри, озаряя идею, сюжет, тональность вещи, ее настроения. Известно, что существуют разные приемы в литературе. Талант современен тогда, когда вы чувствуете действительность без надоедливо указующего перста автора, подобно тому как ощущаете лучи солнца — ведь оно присутствует и греет вас, если даже вы не смотрите на него, в упор.

Как и в картинах моего знакомого художника, современность и талант присутствуют в маленьких рассказах Ю. Куранова. В них много горячего солнца, простора, тугого ветра над реками и заливыми лугами, знойной тишины и решительных широких раскатов грома в жаркую летнюю ночь, рассказы населены простыми людьми с «синим взглядом» — и все это будто оваяно запахом перестоявшей ржи, липовым цветением («маленькие желтоватые парашюты раскрылись на липовых ветках»). И хотя рассказы эти не претендуют на широкие обобщения, в них есть то, что может разглядеть лишь писатель, умеющий видеть жизнь через детали, с ласковой пристальностью относящийся к трудовому человеку, в них ясная доброта к миру, которую мы привыкли называть человечностью.

«Ласточкин взгляд» — это прозрачный и чудесный рассказ, несколько необычный, записанные наблюдения над семьей ласточек, ибо

случилось так, что автор работал на чердаке деревенской избы в близком соседстве с гнездом хорошо знакомых нам птиц в летнюю пору, когда у них должны появиться птенцы. Попробую процитировать наугад одно из наблюдений: «Видя меня днем склонившимся над бумагами, а ночью спокойно спящим, самец перестал обращать на меня внимание. С соломинкой, с перышком ли — он влетал на чердак и, чуть обогнув меня, прямо над столом садился в гнездо... Супруга же его во всем оставалась верной тому характеру поведения, который считается обязательным для ее пола. Как и всякая молодая женщина, она была в высшей степени недоверчива и подозрительна. Она бранила меня ежеминутно и громогласно всякий раз, когда появлялась на чердаке. И я, и супруг ее, и она сама отлично понимали, что брань эта уже не выражает ее отношения ко мне и не имеет никакого смысла. Тем не менее просто ради приличия она считала себя обязанной быть строгой. Чтобы дать ей возможность забраться на ночь в гнездо, я должен был уходить вниз и возвращаться на чердак только с темнотой».

Как прекрасен этот абзац, освещенный доброй улыбкой автора, вы угадываете здесь нечто очень знакомое в людских отношениях, вы чувствуете автора с его мягчайшей застенчивостью и одновременно с его серьезным отношением ко всему сущему. Да, рассказано нам только о ласточках, но мысль здесь как бы и не о ласточках, хотя и нет в этой новелле ничего условного, символического, искусственного. Это называется глубина — видеть большее, чем рассказали нам, понимать большее, чем прочитали мы. Приведу еще один пример: появились у ласточек птенцы, родители их учат летать, и вот радостное состояние молодых птиц, вылетевших из чердака: «О солнце! Каким океаном простора и света встретил их мир! Сколько птичьих криков реяло между землей и высокими сверкающими облаками!»

И вы точно слились с этим огромным сверкающим под солнцем простором — так слиты и неразделимы с природой герои рассказов Ю. Куранова, потому что люди у него красивы внутренней красотой, душевно широки, как красива и широка русская природа, как синее небо, эта стихия простора, которого «нет ничего свободней и безграничней».

Вот в рассказе «Золотая синь» автор увидел девушку на сельской почте. «Из окошечка меня осветило совершенно необычным светлым взглядом. Это не было простое ощущение радостной легкости от синего взгляда, тут глаза бы-

ли синие, но с тончайшей примесью золотого блеска».

Как видим, Куранов — писатель своеобразный, с тонкой чистотой красок, со своей молодой манерой, со своей труднейшей краткостью, требующей слова алмазно отточенного, верного и в то же время лишнего экспрессивной нарочитости. Куранов чувствует свежее слово, но

мастерство его проявляется и в раскрытом внутреннем «я», в близком современникам душевном освещении, и нам дорог этот свет авторской доброты, что делает людей целомудреннее и помогает им познать нашу русскую природу с ее лесами, с острым блеском Ориона в осенние ночи на плесах, с далекими шевелящимися огнями сел на косогорах.



ИМЯ ЭТОГО СУДЬИ — ПРАВДА

Вряд ли кто-нибудь из нас рискнет определить современную литературу как морализаторскую притчу или как очерковый комментарий к событиям сегодняшнего дня, выдаваемый за философское осмысление жизни.

Нет, цель современного искусства — разумная организация сознания, внесение в мироустройство нравственного порядка, социальной концепции природы и человека.

Сегодня невозможно отгородиться от мира каменной стеной Древнего Китая с его смертельным запретом для проникновения чужой культуры. Поэтому едва ли сейчас на Европейском, Американском и Азиатском континентах можно найти абсолют обособленного, очищенного национального искусства. Человечество объединено единым земным шаром, в XX столетии он стал удивительно тесен, чрезвычайно уменьшен невероятными скоростями и устройствами новой науки.

Когда известный японский критик Кендзи Симицу говорит, что «современная культура импортируется главным образом из США...», когда в Канаде создается Союз писателей с главной целью воспрепятствовать импорту американской книжной продукции, когда французская интеллигенция сетует на засилье джазовой заокеанской музыки, когда крупнейшие итальянские режиссеры заявляют, что западное кино «волочит за спиной груз американского доллара», что они, американцы, «требуют, чтобы кино не пробуждало сознание, никуда не звало», когда мы соприкасаемся с переводными американскими романами последнего времени, — то все отчетливее начинаем понимать: в мировой культуре что-то случилось (слово «что-то» я употребляю здесь, имея в виду роман Джозефа Хеллера), и понятий добра и зла не

существует, и сам Вельзевул взмахами обожженных недавними войнами крыльев ставит на страницах книг печать оцивилизованной горькой тоски, безрадостного пресыщения.

Главная проблема Запада — пропасть между духовными запросами человека и его материально-плотским существованием — рождает отчаяние в тщетном искании жизнеспособной моральной доктрины.

Современные буржуазные социологи объясняют новые эрзац-чувства стальной поступью «индустриального общества», называя преступником века научно-технический прогресс, который раздавил человека машинами и вещами, опошлив и подменив его мысли либо хватательным инстинктом, либо рефлексом на физиологические удовольствия.

И в литературе возникают апокалипсические параболы, идеи тотальной судьбы, тусклый контур грядущего дня человечества на отравленной, выжженной и обезвоженной планете, и вырастают границы между «я» и «нея», возникает бесповоротное отчуждение человека от человека, и смысл человеческого существования превращается в пол- и четверть смысла, если не в полную бессмысленность, а правду найти невозможно, ибо «истин на земле столько, сколько и людей», и потеряна нравственность, первоэлемент общественных установлений (благороднейший тормоз свинцовых инстинктов). На замену пришло судорожное развлечение, торжествующий дьявольский знак бегства от самих себя, от одиночества в каменных пустынях городов, сияющих неонов и электричеством, и целая индустрия лжеискусства пытается заполнить духовный вакуум Запада, особенно в последние два десятилетия, давно превратив искусство, подобно спорту, в при-

быльную коммерцию. Поэтому не являются ли секс, наркотики, алкоголь беспомощными врагами душевного одиночества?

Стереотипная пустота чувств, стандарт мыслей «массовой литературы» заменили истинные индивидуальности талантов, и это начало конца, преддверие гибели искусства постиндустриального общества.

Мы знаем, что целые культуры рано или поздно исчерпывали свои возможности и погибали, как и целые, внешне, казалось бы, все-сильные, древние цивилизации, погребенные песками пустыни.

Что ж, может быть, культура Европы давно прошла свой зенит и в течение последних двадцати лет неуклонно сползает к мрачному закату, о чем еще в начале века писал Освальд Шпенглер? Или, может быть, эта буржуазная культура, задохнувшись в машинной цивилизации, утратила духовную силу, передав маршалский жезл социологическому репортажу и «массовым» романам, низкий художественный уровень которых размыл критерии вкуса с тридцатых и сороковых годов? Синтетикой, излишеством вещей и алчностью опрокинут и погребен эстетический кумир общества массового потребления, и высокомерный европеизм, анемичный, постаревший, напоминает уже орла с восковыми крыльями — куда и сколько ему лететь?

Для того чтобы продолжать любить человека, современному художнику нужны нравственные точки опоры.

Когда мы говорим о научно-технической революции развитого социалистического общества, о высокомеханизированной цивилизации XX века, мы, конечно же, думаем о науке как об импульсе прогресса, как о рычаге, поворачивающем индивида не к миру вещей, его поглощающих, а к духовному богатству для всех. Подчиняясь нравственным законам, человек должен осознать, что век электроники и кибернетики, господство машин — это не самоцель, не прогресс ради прогресса, а ступень исторической судьбы человечества, рубеж познания, через который ему суждено пройти, если издержки цивилизации — засорение биосферы (основы людского существования), смог над перенаселенными городами, различные токсические соединения — не создадут угрозу для существования самого совершенного биологического вида на Земле.

Люди готовы обвинять технику, забывая о том, что техника подчинена людям, действительным виновникам убийства природы, а значит, вместе с ней и самих себя. И тут возникают проблемы социальные, и опять мы обращаемся

в сферу нравственную, связанную с воздействием на человека, чем занимается идеология и составная часть ее — искусство, отражающие общественное бытие.

Теоретики постиндустриального общества утверждают, что научно-технический прогресс отменит идеологию, заменив ее наукой, то есть тезис «деидеологизации» отрицает коммунистическую идеологию и, стало быть, социальное преобразование современной капиталистической структуры. Все эти антимарксистские теории напоминают многолетние и многосумные дискуссии о моноромане и центробежной и центростремительной прозе, об антиромане и романе-репортаже, о романе-информации и романе экзистенциалистском — во всех пен-клубовских диспутах не доставало «жизни как она есть» и не хватало надежды.

Оптимизм? Вера в добро? Вера в человека? Но оправдан ли эпохой этот оптимизм? Девятнадцатый век был временем критического реализма. Не заслуживает ли самой большой критики наш индустриальный век, уничтожающий человечность в человеке?

Нет, в советской литературе нет всемирного пессимизма, нет отчаяния, черного юмора, балаганного святотатства, ибо искусство наше подчинено этическому началу, где герой, как правило, делает выбор не ради эгоцентрического «я», а во имя построения прекрасного здания, на фронтоне которого будут начертаны золотые слова: «Человек человеку друг, товарищ и брат».

Нет, наш герой не имеет ничего общего с любвеобильным мессией, с добреньким чудачком, своей гибелью искупившим грехи людские, и его не распнут, смиренного, потому что он борющаяся натура, хотя и способен на самое решительное самоотречение.

Советской литературе не присущи морализаторство и роль исправителя рода человеческого, на что претендовала Библия — эта самая известная книга мира, набор мифов, законоустановлений и советов, догматическое руководство к действию, нередко поражающее цинизмом, жестокостью и бесцеремонной непререкаемой властью.

Завтрашний век, что уже не за семью печатями, признает и укрепит нашу литературу как «доктрину добра» — она пыталась сказать о революционной эпохе на земле, о человеке этой эпохи, сказать не нечто, не что-то, а сказать все.

В поисках истины мы не были пленниками идеалистического иррационализма и не стали аморальными реалистами, не разочаровывались в человеке и не были приверженцами асоциальных направлений.

Слово родилось прежде философии, политики, социологии и всех научных систем; слово родило великие идеи человечности, без которых искусство и литература, вырождаясь, превращаются в зеркало жалкого развлечения, отражая бытовые случаи на житейских перекрестках.

Шедевр в прозе появляется на свет тогда, когда диктатура идеи родственно соединяется с диктатурой образа.

Как и все прогрессивное искусство мира, наша литература постоянно занята наиглавнейшим на земле — проблемой человеческого счастья.

Предчувствие счастья и невозможность достичь его в идеальном удовлетворении — это и есть искусство.

О любой литературе не следует судить по ее среднему, тривиальному уровню, как судят об обществе социологи. То, что писал Толстой, по сравнению с латинской литературой иному интеллектуалу западного толка мнится тривиальным, но стоит ли спорить против «авангардизма наоборот»?

И хотя подчас трудно провести границу между великим и смешным, мы склонны говорить, что поверхностное искусство всегда претендует быть пряным и кокетливо-модным, в то время как подлинное искусство — это не избразитель «личных впечатлений», а целый мир, воспринятый сквозь разум и чувства при постоянном присутствии Верховного судьи, приведенного к присяге. Имя этого судьи — правда.



ГЕРОЙ ИЗ ПОВЕСТИ

Иногда утром на улицах я всматриваюсь в лица людей: в их глазах еще нет отпечатка тревожных дней, нет следов усталости, прожитых и пережитых будней — утром лица кажутся мне открытыми.

Случайно услышанная фраза; беглый взгляд пожилой женщины, брошенный на свое отражение в зеркальном стекле витрины, ее стеснительный жест, чтобы поправить прическу; сосредоточенное или рассеянное выражение лица остановившегося на троллейбусной остановке мужчины средних лет (кто он — мой сверстник?); живое проявление молодости в улыбке незнакомого и немолодого человека — все это с постоянным, порой мучительным узнаванием «тайны» заставляет меня работой воображения угадывать разные варианты судеб, то есть разные стечения обстоятельств, что обычно называют судьбой каждого, представлять чужую жизнь, вчерашнюю или настоящую, счастливую или не совсем счастливую.

...Я встретился с ним после телефонного звонка — звонил журналист А. Шварц. Он сказал мне, что на Московском комбинате железобетонных конструкций работает капитан запаса Владимир Павлович Ластовский, и настойчиво спросил меня, знакомо ли мне это имя — Ластовский чрезвычайно напоминает одного из героев моей повести «Батальоны просят огня».

Я ответил, что имя это совершенно незнакомо мне, и в то же время, уже повесив трубку, весьма усомнился в категоричности своего ответа, ибо за давностью лет стираются в памяти фамилии, остаются — и то тускнеют, к сожалению, — лишь образы тех, с кем на фронтовых перекрестках встречался когда-то.

И я понял, что не могу не увидеть человека, одного из персонажей повести, который написан был как образ без прототипа, образ, что ли, собирательный, по отдельным черточкам соединенный в единый характер. Затем, увидевшись с бывшим капитаном Ластовским, вдруг поразила не только схожесть, но и удивительной идентичности ситуаций, в каких жил, боролся и выстоял мой литературный герой на совсем другом плацдарме — в дни форсирования Днепра.

Капитан Ластовский (ныне он слесарь-механик по ремонту тепловозов, отец двоих детей) приехал ко мне днем, и мы просидели с ним до глубокого вечера в состоянии внутренне возбужденном, какое бывает, когда встречаются однополчане, хотя воевали мы с ним в разных дивизиях и никогда не знали друг друга на фронте.

Он сидел напротив меня за столом, еще помолодому телесно крепкий, серебристо тронутый сединой, с большими, какими-то добрыми руками (на которые я почему-то все время смотрю).

рел), не без достоинства сдержанный, только будто нечаянная улыбка делала его крупное лицо несколько даже задорно-детским, и рассказывал о давних и жестоких боях на Днестре, рассказывал с той свежестью впечатлений, как будто вот сейчас вернулся с плацдарма, с набухшей водой и кровью повязкой на раненой руке, похоронивший сто тридцать три человека из своей роты, но выстоявший до последнего патрона на той песчаной отмели проклятого «пяточка», которую шагами можно было измерить: триста пятьдесят — в глубину, триста — в ширину.

В сорок третьем был он младшим лейтенантом, командовал ротой, и в конце октября ему приказано было первому из 21-го полка 180-й дивизии форсировать Днестр между Вышгородом и Киевом, в районе сильной трехъярусной по крутому берегу обороны немцев, захватить крохотный плацдарм — песчаную отмель, поросшую кустарником, — держаться на нем сколько можно, сколько хватит человеческих сил — так нужно было дивизии.

Их было сто сорок человек. И в туманную холодную ночь эта усиленная рота бесшумно на лодках переплыла полукилометровую ширь воды: окопалась в кустарнике без боя, почти без потерь, только одну лодку все-таки снесло течением во время переправы, прибило к берегу левее отмели, и близкие крики на немецком языке, пулеметные очереди, торопливые взлеты ракет всем объяснили ее судьбу. На помощь прийти было невозможно.

От окопавшейся роты до немецкой обороны было менее сорока метров: даже ручные гранаты, брошенные с высокого берега, достигали ячеек наших солдат. На рассвете немцы обнаружили позиции, а к утру связь с берегом была перерезана. Связисты, посланные на линию, не вернулись. И вот первая немецкая атака началась на заре. И это было только начало. Неистовые атаки не прекращались ни днем ни ночью. Семь долгих дней и ночей кромешного ада. В короткие минуты затишья им кричали из немецких окопов — всем было отчетливо слышно: «Сдавайтесь! Вы безумцы! Сзади Днестр, впереди — смерть, а мы пощадим вас! Вы будете пить водку, любить женщин! Мы повысим вас в чине!»

Они отвечали огнем. И хоронили убитых. Подкрепление, посланное на третью ночь дивизией, было отрезано.

— На шестую ночь, — ровным голосом говорил Ластовский, затягиваясь сигаретой, — сижу в окопе, голова мутная, днем осколком мины ранило, как раз в правую руку. В ушах звенит. Всеми силами стараюсь не заснуть, наблюдаю... В левой руке парабеллум держу, в

моем пистолете патроны кончились, а этот у убитого на бруствере фашистского офицера взял, глаза рукавом разлеплю, все думаю: как бы на правом фланге мои ребята не заснули — там уже почти никого не осталось... Вдруг, как во сне, слышу: там на правом фланге — выстрелы, трассы, крики... Потом — ракета. Схватил одной рукой ручной пулемет, бегу со всех ног туда. И поверите — в первый раз не по себе стало, мороз по коже: немцы прямо в рост бегут вдоль наших окопов и в упор солдат расстреливают из автоматов. Или боевое охранение сняли, или заснули... Сон был тогда смертным. Упал с пулеметом на бруствер, выпустил весь диск по этим, над окопами бегающим, а у самого аж горло засадило. Потом все стихло. Иду по окопам, считаю убитых — осталось нас не больше десятка, а из офицеров — я да один командир взвода. Иду и, как в бреду, говорю: «У нас еще, ребята, три пулемета и запас лент остались, назад пути нам нет, а отмель наша. Не спать. Только не спать, ребята. Не такое выдерживали». И тут вижу: в окопчике один солдат сидит, пожилой уже дядька, смотрит на меня, а сам вроде без звука плачет, слезы так и капают, прямо бегут из глаз. Присел к нему: «Чего, — спрашиваю, — реवेशь, честно отвечай». — «Пропали, видно, мы здесь, — говорит. — Всем конец». — «Не мы, говорю, первые умираем, не мы последние. До нас люди умирали и будут умирать. Если умрем, — считай, что смерть эта обыкновенная». — «А дети?» — спрашивает. «У всех дети, — опять говорю, — у него, у тебя, у всех». — «Да, у всех», — соглашается. «Кончай, говорю, это дело. Все мы тут одинаковые».

Ну, последний день и ночь только три атаки было. Помню, у меня в окопе пятьдесят «лимонок» оставалось и две гранаты «эргэде», одна, правда, помятая была, на эту не надеялся — все «лимонки» по фрицам пошвырял, а одну «эргэде» оставил при себе.

А ночь последняя была такая: то луна, то облачко, холодный туманец по кустам. Опять иду по обороне. Нигде ни выстрела, только раненые немцы кричат, стонут за бруствером, а у нас и раненых нет: такие прямые попадания в упор, что одни убитые. И пулеметы все поковерканы уже. Просто металлолом. Всю роту считал, как говорится, по головам: семь человек со мной. И что еще? А я хорошо знаю: ни одного целого пулемета, ни одного патрона в парабеллуме, а только граната «эргэде». Все смотрят на меня. Молчат. И я ну прямо чуть на ногах держусь. Солдаты мои едва живые, все в бородах, дышат с хрипом, исхудалые, но глаза живут еще, смотрят словно внутрь меня, словно спрашивают: «А как дальше будет, лейте-

нант?» Такое чувство: ближе их никого нет и не будет. Ни мать, ни отец...

Выждал немного, говорю: «Вот граната у меня одна. Мы свое сделали. Все атаки отбили. А сейчас атака — встанем вокруг меня, головами поближе, и я чеку дерну, чтоб, значит, всем сразу... Если кто сомневается — его дело. А сейчас — всем шинели снять».

Ничего не спрашивают, снимают шинели, и сам я шинель снял; потом говорю разведчику казаку Азимову: «А ну, поползи метра три от отмели». Тот перелез через бруствер, пополз в сторону воды. Луна из-за облачка как раз выглянула, и больно ясно его нижняя рубаха на песке белым выделяется. Но немцы не стреляют. Зову его назад и приказываю всем мокрым песком, грязью нижние рубахи замазать. Потом спрашиваю, все ли на воде держаться могут. Оказалось — все. «Так вот, — говорю, — мой приказ: на тот берег переправляемся. По песку ползем так: в середке Азимов с гранатой, все по бокам — ежели немцы возле воды будут окружать, даю сигнал: «Азимов, чеку дергай! За мной!» И поползли. А ползти почти триста метров. Как не заметили нас — до сих пор не знаю. И до сих пор не знаю, как доплыли все. Меня уже без сознания на том берегу вытащили. Вот и история вся. А мне журналист Александр Ефимович Шварц, с нашего комбината парень, сказал, что вы о подобном книжку написали.

— Да, очень похоже, — ответил я, вновь поражаясь сложнейшим и трагическим ситуа-

циям на безымянных днепровских плацдармах, таких многочисленных тогда.

— Вы Красного Знамени за Днепр получили? — опять мысленно обращаясь к плацдарму-отмели, спросил я, глядя на планочки под лацканом его пиджака, на которых заметил ленточку этого ордена.

— Нет, — махнул крупной рукой Ластовский. — Три дня только и отдохнули мои ребята. А потом — наступление от Вышгорода на Киев. Мне опять роту дали. Ну, наступление, сами знаете: вперед и вперед, тут не до наградных. Этот орден за Яссы...

— А ведь за Днепр вам самую высокую награду дать надо, — сказал я, с новой силой вспомнив все плацдармы, на которых приходилось мне бывать, и зная, что это значит: первым форсировать Днепр и продержаться на крохотном плацдарме семь суток отрезанным от своих...

Мы простились с Ластовским так, как будто вместе просидели на плацдарме семь суток и будто это действительно был мой герой. Он ушел, несколько смущенно извинившись за беспокойство, за отнятое время, а от этих слов я был смущен еще больше: я готов был сидеть с ним хоть до утра.

...И теперь, вглядываясь в лица прохожих на улице, пытаюсь угадать их прошлое и настоящее, я часто вспоминаю встречу с Ластовским, сдержанное выражение его сильного, открытого лица, ясное, с твердой добринкой, неускользающее выражение глаз, большие рабочие руки и думаю: все-таки лица человеческие многое говорят,



МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Когда прошли равнины Польши и приблизились к границе еще недавно далекой Чехословакии, полузабытый довоенный зеленый мир юности приблизился вдруг, стал сниться нам в глухие осенние ночи под мрачный скрип сосен, под стук пулеметных очередей на высотах. Тогда преследовали меня одни и те же сны — в них все было «когда-то».

Просыпаясь в сыром от росы окопе, засыпанном опавшими листьями, я чувствовал, как рассветным холодом несло от ледяных вершин

Карпат, как холодела под туманом земля, исчерненная воронками. И, глядя на спящих возле орудий солдат, с усилием вспоминал сон: в теплой траве горячо трещали кузнечики, парная июльская духота стояла в окутанном паутиной ельнике, ветер из-под пронизанной солнцем тучи тянул по вершинам шелестящих берез, потом с громом и легкими молниями обрушивалась лавина короткого дождя; затем — на сочно зазеленевшей поляне намокшая волейбольная сетка, в воздухе свежесть теплого ливня, за

изгородами отяжелевшие влагой ветви и синий дымок самоваров на даче под Москвой.

И как бы несовместимо с этим другой сон — крупный снег, медленно падающий вокруг белых фонарей около заборов в тихих переулках Замоскворечья, мохнатый снег на воротнике у нее, имя которой я забыл, белеет на бровях, на ресницах, я вижу внимательно поднятое замершее лицо; в руках у нас обоих коньки. Мы только что вернулись с катка. Мы стоим на углу, и я знаю: через несколько минут надо расстаться.

Эти несвязные видения не были законченными снами, это была непроходящая и болезненная тоска по России, по Родине, чувство, равное самому сильному чувству любви к женщине, к жене, к детям. И это чувство, как отблеск, возникало в самые отчаянные, самые опасные минуты боя, когда мы глохли от разрывов снарядов, режущего визга осколков, автоматных очередей, когда ничего не существовало, кроме железного гула, скрежета ползущих на орудия немецких танков, раскаленных до фиолетового свечения стволов, черных от пороховой гари, потных лиц солдат, ссутуленной спины наводчика, приникшего к резиновому наглазнику панорамы, осиплых команд, темного дыма горящей травы вблизи огневой.

Удаляясь, уходя из дома, мы упорно и трудно шли к нему. Чем ближе была Германия, тем ближе был дом, тем быстрее мы возвращались в свою оборванную войной юность, которую представлялось нам, можно еще продолжить потом.

Нам было тогда и по двадцать лет и по сорок одновременно.

Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный мир, из которого ушли, запомнив его прекрасную утреннюю яркость и тишину. Солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землей каждый день по своей непреклонной закономерности: трава была травой, предназначенной для того, чтобы расти, быть зеленой; фонари — для того, чтобы освещать сухой апрельский тротуар возле парков, где гремела музыка, вечернюю толпу гуляющих, в которой идешь и ты, восемнадцатилетний, загорелый, сильный. Все ливни тогда проходили над твоей головой, и ты был только рад блеску молний, пушечным раскатам грома и теплой влаге на губах; все улыбки в этом мире предназначались только тебе, дружба была простой и ясной, все смерти и слезы были чужими, все ненаписанные стихи должны быть легко написаны, все несозданные картины ждали только холста, все непостроенные машины — времени. Весь мир, теплый, мягкий, прозрачно-лучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым апре-

лем, обогривая добротой, радостью, ожиданием любви, — там, позади, не было ожесточенной непримиримости и ненависти, везде была разлита зеленовато-светлая акварель в воздухе; и не было жестких черных красок боли и утрат.

За долгие четыре года войны, каждый час чувствуя возле своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям.

Мы узнали, что мир и прочен и зыбок. Мы узнали, что солнце может не взойти утром, потому что его блеск, его тепло может уничтожить бомбежка, тогда горизонт утонет в черно-багровой завесе дыма. Порой мы ненавидели солнце — оно обещало летную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкеров». Мы узнали, что солнце может ласково согреть не только летом, но и поздней осенью, и в жесточайшие январские морозы, но вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты только что называл по имени. Оно, солнце, могло быть и гигантским микроскопом, выдавшим твои слезы на первой щетине щек.

Мы узнавали мир вместе с человеческим подвигом и страданиями.

Кто из нас мог сказать раньше, что зеленая трава может быть фиолетовой, потом аспидно-черной и закручиваться спиралью, вянуть от разрывов танковых снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на белых женственных ромашках, этих символах любви, капли крови твоего друга, убитого автоматной очередью?

Мы входили в разрушенные, безлюдные города, дико зияющие черными пустотами окон, провалами подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, и не было слышно смеха, не звучала музыка, не загорались веселые огоньки папирос под обугленно-черными тополями пустых парков.

В Польше мы увидели гигантский лагерь уничтожения — Освенцим, этот фашистский комбинат смерти, день и ночь работавший с дьявольской пунктуальностью, окрест него весь воздух пахнул жирным запахом человеческого пепла.

Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической наготе. За четыре го-

да войны мое поколение познало многое, но наше внутреннее зрение воспринимало только две краски: солнечно-белую и масляно-черную. Середины не было. Не было нюансов. Радужные цвета спектра отсутствовали.

Мы стреляли по траурно-черным танкам и бронетранспортерам, по черным крестам самолетов, по черной свастике, по средневеково-черным готическим городам, превращенным в крепости.

Война была жестокой и грубой школой, мы сидели не за партами, не в аудиториях, а в мерзлых окопах, и перед нами были не конспекты, а броневые снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вследствие этого не знали простых, элементарных вещей, которые приходят к человеку в будничной, мирной жизни, — мы не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыденные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту. Слова «книжки», «настольная лампа», «благодарю вас», «простите, пожалуйста», «покой», «усталость» звучали для нас на незнакомом и несбыточном языке.

Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы могли плакать не от горя, а от ненависти и могли по-детски радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не радовались — ни до войны, ни после войны. Помню, в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей возникли в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами — и мы зачарованно смотрели на их медленное движение, угадывая их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пули расстроили журавлиные цепочки, и мы в гнев открыли огонь по фашистским окопам.

Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, чем чище, яснее, раннее было ощущение зеленого, юного и солнечного мира великих ожиданий — все это жило

в нас, снилось нам. Это сообщало нам силы, это рождало мужество и терпение. Это заставляло нас брать высоты, казавшиеся недоступными.

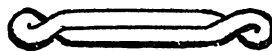
Наше поколение — те, что остались в живых, — вернулось с войны, сумев сохранить, пронести в себе через огонь этот чистый, лучезарный мир, непреходящую веру в будущее, в молодость, в надежду. Но мы стали непримиримее к несправедливости, добрее к добру, наша совесть стала вторым сердцем. Ведь эта совесть была оплачена кровью, обжигающей душу ненавистью ко всему черному, жестокому, античеловеческому. И вместе с тем четыре года войны мы сохраняли в себе тепло солнца, естественный цвет молодой травы, улыбку любимой женщины, мягкий блеск фонарей в теплых сумерках и вечерний снегопад...

Война уже стала историей. Но так ли это?

Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. Не забывать Время — это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать Время. Быть историчным — это быть современным. Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулезной точностью подсчитывают историки. Да, они подсчитывают количество потерь, определяют вехи Времени. Но они не смогут подслушать разговор в окопе перед танковой атакой, увидеть страдание и слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди, убивающей жизнь.

В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в Истории. Они не знали и не могли знать то, что знаем мы, но они чувствовали то, что уже не чувствуем мы. При ежесекундном взгляде в лицо смерти все обострено, все сконцентрировано в человеческой душе.

И вот этот фокус чувств чрезвычайно интересен мне.



СТАЛИНГРАД

В аккуратном чистеньком номере мюнхенской гостиницы мне не спалось. Фиолетовый сумрак декабрьской ночи просачивался сквозь густо залепленное снегом окно, вкрадчиво-дре-

мотно пощелкивало в тишине электрическое отопление, а мне казалось чудовищным, невероятным, что я нахожусь в немецком, страшном своей славой городе, откуда нача-

лось все: война, кровь, концлагеря, газовые камеры.

Я вдруг отчетливо вспомнил утренний разговор с мюнхенским издателем, включил настольный свет и стал просматривать газеты. И тотчас в глаза бросился крупный заголовок — «Сталинград», а под ним несколько фотографий: суровая сосредоточенность на лицах немецких солдат за пулеметом среди развалин города, танковая атака в снежной степи, высокий, молодцеватый автоматчик, расставив ноги в сапогах-раструбах, хозяином стоит на берегу Волги.

В статье выделялись давно знакомые имена и названия: Паулюс, Манштейн, Гитлер, группа армий «Дон», 6-я полевая армия.

И лишь тогда я понял, почему издатель попросил меня просмотреть эту газету.

Утром во время встречи с ним, узнав, что я интересуюсь материалами второй мировой войны, издатель развернул передо мной газету, сказал: «Хотел бы, чтобы вы встретились с фельдмаршалом Манштейном. Да, он жив, ему восемьдесят лет... Но думаю, что он побоятся разговора с вами. Солдатские газеты много пишут о нем в хвалебном тоне. Называют его стратегом и даже не побежденным на поле боя. Задайте ему несколько вопросов, чтобы старый пруссак понял, что он участник преступления. А впрочем, сейчас...»

Издатель довольно решительно подошел к телефону и через справочную узнал номер фельдмаршала. Я хорошо слышал последующий разговор. Старческий голос в трубке надолго замолчал, как только издатель сказал, что господину фельдмаршалу хочет задать несколько вопросов русский писатель, занятый изучением материалов второй мировой войны, в том числе, конечно, и Сталинградской операции.

Длилась томительная пауза, потом старческий голос не без удивления переспросил: «Русский писатель? О Сталинграде? — и опять после паузы, с пунктуальностью военного: — Какие именно изучает он вопросы?» Затем, после осторожного молчания: «Пусть изложит письменно вопросы». Затем, после длительной паузы: «Я все сказал в своей книге «Потерянные победы». О себе и о Паулюсе». И наконец: «Нет, нет, я никак не могу встретиться, я простужен, господин издатель. У меня болит горло. Я плохо себя чувствую».

— Я так и думал, — сказал издатель, положив трубку. — У этих вояк всегда болит горло, когда надо серьезно отвечать.

В сущности, я не очень хотел бы этой встречи с восьмидесятилетним гитлеровским фельдмаршалом, ибо испытывал к нему то, что испытывал двадцать пять лет назад, когда стрелял по его танкам в незабываемые дни 1942 года.

Но я понимал, почему фельдмаршал, этот «не побежденный на поле боя», опасался вопросов о Сталинградской операции...

Нет, я никогда не забуду жестокие холода под Сталинградом, когда все сверкало, все скрипело, все металлически звенело от мороза: снег под валенками, под колесами орудий, толсто заиндевевшие ремни и портупей на шинелях.

Наши лица в обмерзших подшлемниках почернели от сухих метелей, от ледяных ветров, беспрестанно дующих по степи. Мы своим дыханием пытались согреть примерзавшие к оружию руки, но это не помогало. Потом мы научились согревать руки от горячие стреляные гильзы. Мы стреляли по танкам и лишь согревались в бою и хотели боя, потому что лежать в снегу в мелком выдолбленном окопе возле накаленного холодом орудия было невыносимо. Но в те жестоко морозные дни мы ощущали в себе нечто новое, чего не было в первый год войны.

Шел декабрь второго года войны. Двухсоттысячная 6-я армия фельдмаршала Паулюса была сжата в тесном кольце тремя нашими фронтами вокруг превращенного в развалины Сталинграда. Кольцо все сдавливалось, все сужалось, но армия Паулюса сопротивлялась с тупым неистовством обреченных на гибель. Она еще держалась в развалинах города. Она еще была на берегах Волги. А мы уже ощущали знаки победы в горящих танках, в ночных пожарах за немецкой передовой, даже в ищущем гудении транспортных «юнкерсов», сбрасывающих контейнеры с боеприпасами и продовольствием в тылах 6-й армии. Наша пехота в звездные декабрьские ночи короткого затишья чувствовала в морозном воздухе запах пепла. И это тоже был запах ожидаемой победы — в немецких штабах жгли бумаги, бросали в печи корпусные и дивизионные печати, наградные листы, копии донесений, плавилась в огне Железные и Рыцарские кресты, которые уже потеряли свою ценность. Иногда мы слышали крики, одиночные выстрелы в близких окопах — это свершался суд над обезумевшими от боев солдатами, пытавшимися бежать куда-то из смертельного «котла».

Никто из нас в те дни не видел немецких медпунктов, пропахших гниющими бинтами и потом, трехъярусных нар, забитых обмороженными и ранеными. Никто из нас, кроме разведчиков, не видел окоченевших трупов немцев на дорогах в окружении каменных от мороза трупов убитых лошадей, искромсанных финками голодных солдат 6-й армии.

Тогда мы не знали всего этого. Но если бы и знали, то не испытали бы жалости. Мы стискивали кольцо с одним желанием уничтожения,

И это было справедливо, как возмездие. Жестокость врага рождает ненависть, и она неизбежно жила в нас, как память о сорок первом годе, о Смоленске, о Москве, о том надменном воинственном веселье викингов «третьего рейха», когда они подходили к Сталинграду после непрерывных бомбежек, в поднятых танками завесах пыли, с пилотками за ремнем, с засученными по локоть рукавами на загорелых руках — завоеватели, дошедшие до Волги, с наслаждением после боя пьющие русское молоко в захваченных станицах, в двух тысячах километров от Берлина. Они продвигались с огромными потерями, но они все-таки продвигались к Волге.

В ликующей Германии звучали фанфары. Гремели марши по радио. Впервые в истории немецкий солдат вот-вот почерпнет своей плоской алюминиевой кружкой волжскую воду и с чувством победителя плеснет ею на потную шею. Немецкие танки, войдя в прорыв на юге, прошли за лето сотни километров, ворвались в Сталинград, на его улицы. Эти танки были накалены русским солнцем, русская пыль густым слоем покрывала крупновскую броню. И этот горячий запах русской пыли, запах выжженных приволжских степей сильнее порционного рома опьянял солдат и наркотически опьянял Берлин, на весь мир шумевший победными речами. В рейхсканцелярии ежедневно устраивались роскошные, почти древнеримские приемы, на которых высшие чины рейха и генералы с самоуверенными выбритыми лицами, внушительно сверкая орденами на парадных мундирах, жали друг другу руки между глотками шампанского, а женщины, обольстительно улыбаясь, блистали драгоценностями, награбленными в павшей Европе и на завоеванных территориях «жизненного пространства». Весь мир затаил дыхание: казалось, еще шаг немецкой армии — и Россия падет. В те же опьяняющие победой месяцы хромающий, сухощавый человек с сильными надбровными дугами — рейхсминистр Геббельс, как бы забыв о великих «идеалах немецкого народа», о которых он так наигранно-страстно любил говорить, уже нестеснительно заявил на весь мир, что цель войны — «набить себе брюхо», все дело в нефти, пшенице, угле, руде.

В те месяцы молниеносно повышались генеральские и офицерские звания «героям летнего наступления», «беспримерным воннам», танкистам и летчикам вручались Рыцарские и Железные кресты. Тогда в Берлине ждали день падения Сталинграда, мнилось — победоносная армия рейха заканчивает войну на берегах Волги.

И быстрое окружение 6-й армии Паулюса в почти захваченном, казалось бы, почти завое-

ванном Сталинграде представилось сначала в Берлине невозможностью, мифом, результатом ошеломляющей таинственности неожиданно возникшего русского военного потенциала и тайной славянского характера.

Но это не было ни мифом, ни таинственностью. Это было проявлением закономерности. До предела сжатая пружина стала разжиматься с неудержимой разрушительной силой. Война вошла в новую свою фазу.

Проклиная дни отступлений, мы тогда, конечно, не могли со всей очевидностью предполагать, что наше успешное наступление в ноябре, в декабре, наши атаки, удары бронейных снарядов по танкам в окруженной группировке — все это было началом конца этой страшной войны, битвой в глубине России на уничтожение.

Мы лишь чувствовали нечто новое, долго ожидаемое, наконец с ощущением собственной силы начатое, — и, видимо, ощущение это было предзнаменованием Победы. Но впереди еще были неисчислимы километры наступления, бои, потери, и мы зрительно представляли этот тяжелейший путь сражений в сталинградских степях.

Окруженная группировка Паулюса получала одну за другой радиogramмы Гитлера с приказом держаться до последнего солдата. Он, Гитлер, понимал, что потерять Сталинград — значило потерять инициативу, навсегда уйти с берегов Волги, то есть из самых глубин России. Он обещал интенсивное снабжение с воздуха и мощную помощь четырьмя танковыми дивизиями из района Котельникова.

И вот тогда командующий группой армий «Дон» фельдмаршал Эрих фон Манштейн получил приказ начать операцию деблокирования, прорыва с юга к окруженным войскам. Эта операция могла решить многое, если не все. Только теперь я понимаю, что весь исход битвы на Волге, вся каннская операция трех наших фронтов, может быть, даже сроки окончания всей войны как бы зависели от успеха или неуспеха начатого в декабре Манштейном деблокирования. Танковые дивизии были тараном, нацеленным с юга на Сталинград.

Я хорошо помню неистовые бомбежки, когда небо чернотой соединялось с землей, и эти песочного цвета стада танков в снежной степи, ползущие на наши батареи. Я помню раскаленные стволы орудий, непрерывный гром выстрелов, скрежет, лязг гусениц, распахнутые телогрейки солдат, мелькающие со снарядами руки заряжающих, черный от копоти пот на лицах наводчиков, черно-белые смерчи разрывов.

В нескольких метрах ударная армия Манштейна — танки генерал-полковника Гота —

прорвала нашу оборону, приблизилась к окруженной группировке Паулюса на шестьдесят километров, и немецкие танковые экипажи уже увидели багровое зарево над Сталинградом. Манштейн радировал Паулюсу: «Мы придем! Держитесь! Победа близка!»

Но фельдмаршал Манштейн не выручил Паулюса. Остатки танковых дивизий, видевших ночью зарево на горизонте, откатывались к Котельникову. Наши армии все теснее сжимали в кольцо напрасно ожидающую помощи окруженную группировку под Сталинградом. И одновременно часть войск, сдержав танковый натиск, начала активное наступление на юге.

Тогда и Гитлер, и Манштейн, точно улавливающий каждое желание фюрера, пришли к единому выводу: окруженную двухсоттысячную армию следует принести в жертву — погибнуть без капитуляции, стрелять до последнего патрона. Среди солдат и офицеров распространялся неписанный свыше приказ — кончать жизнь самоубийством. Фельдмаршал Манштейн, которому непосредственно подчинена была окруженная армия, прекратил сношения со штабом Паулюса, перестал отвечать на его радиogramмы. Потом холодно и расчетливо фельдмаршал

прекратил снабжение с воздуха, прекратил вывоз раненых, хотя в то же время из окружения вывозились «имеющие ценность специалисты», необходимые для продолжения войны. Остальные обрекались на гибель. Армия была как бы списана.

Утром 31 января пришла последняя радиogramма из ставки Гитлера с пышным текстом о производстве Паулюса в генерал-фельдмаршалы. Это было скрытое приглашение к самоубийству. Паулюс все понял, но нашел другой выход — плен.

В этот же день была отправлена Гитлеру радиogramма чрезвычайно короткого содержания: «У дверей русский...»

Наш генерал с переводчиком стояли возле двери штаба в подвалах разбитого универмага.

Так закончилась эта невиданная в истории войн битва, эти первые Канны целой немецкой армии. Это поражение было символическим могильным крестом, замаячившим над ореолом непобедимости фашистской Германии.

...Вот почему у фельдмаршала заболело горло, когда издатель позвонил ему по телефону и заговорил о Сталинграде и русском писателе.



ХРАНИТЕЛЬ ЦЕННОСТЕЙ

Согласимся, что печатный знак, символ и, наконец, слово являются незаменимыми посредниками между людьми, мостами между разными обществами, между человеком и окружающей его средой.

Но слово выполняет не единственную функцию проводника, оно выражает человеческую личность, наделенную социальной страстью, даже в том случае, когда иные теоретики, исполненные либерального темперамента, глубоко-мудро заняты вопросом: остается ли страсть в жизни и литературе первопричиной поступков людей? Или наступило время концепций, а не чувств?

Серьезная литература — не моментальная фотография бытовых положений, не затушевывание границ между понятиями добра и зла, не усыпляющая колыбель «морали середины», этого подозрительного компромисса совести и разума, не оправдание левых и правых изгибов истории при взгляде на тернистый путь человечества, литература — это трезвое отношение

человека к действительности, ибо художественное творчество служит не интеллектуальной элите, не модному бульвару, а обыкновенному человеку и его благу.

И если мы говорим о глобальной опасности вырождения и перерождения литературы буржуазной, где в «потребительском рае» книга стала товаром наравне с зубной пастой, то это, разумеется, не значит, что все западные художники предали, развратили и омертвили слово, перестав мучиться насущными вопросами бытия. Однако два кита «цивилизации изобилия» — деньги и власть людей, желающих стать неограниченными властелинами богатств, растлевают и опошляют идею человека, оглупляют смысл его жизни, принося стандартизацию мысли, увечье чувств, торжество бессердечного разума.

Несомненно, технический прогресс — это прогресс социальный, но грядущая технократическая диктатура не угрожает капиталистическому миропорядку, уничтожая машинной энер-

гией, так сказать, оптимизм Робинзона Крузо, предрассудки донаучного мышления. Индивид становится рабом безрадостных удовольствий в «райских садах сверхпотребления» — и каждый в бессилии перед властью предметов, опустошенный ею, чувствует себя одиноким островом в отчужденном мире.

Нашу научно-техническую революцию семидесятих годов я назвал бы целью и смыслом не только новой социалистической экономики, но и самой субстанции человека. Стало быть, смысл и цель — не крах добрых таинств мироздания, не утрата обмена духовными ценностями между людьми, а усилия, направленные на усовершенствование человека.

В сфере литературы мы в общем-то еще не перестали надевать на персонаж чистые лики безупречного душевного покоя, на которых не возникает морщинок раздумья даже тогда, когда персонаж этот узнает, что отравленные отбросами промышленности реки и водоемы планеты, предельные децибеллы могут поставить человечество на конвейер вымирания как биологический вид. Он еще не обеспокоен судьбами земли, он еще решает задачи сегодняшнего значения (ему некогда), строя, «воюя» с природой, мало думая о будущем, а оно, будущее, не за семью печатами. Этот персонаж еще не осознал, что сам он так же, как и его ближний, — единственная, неповторимая особь на земле, что, не щадя природу, люди теряют главную опору под ногами, не успев обрести надежные крылья. Наша литература настолько занята непосредственной деятельностью человека в области материальной, его поступками практического свойства, что довольно часто она бывает невнимательна к стороне духовной, к вопросам сложным, вечным, над которыми думают люди и мимо которых никогда не проходило серьезное искусство.

Прекрасные, наипрочнейшие шины должны выпускать советские заводы, выделять красивейшую материю фабрики — все это приобретает смысл тогда, если человек нравственно поднялся на ступеньку выше, освобожденный в быту предметами удобства.

Во всемирной литературе уживаются романы-утверждения, романы-отрицания, романы-сомнения, романы-предупреждения. Почти все предшествующее искусству критического реализма я позволил бы себе определить как сопротивление личности существующему бытию. Социалистический реализм — это утверждение свободной личности через исследование судьбы, через осознание действительности, следуя одной из основных тенденций великой русской прозы — заражать людей интересом к человеку.

В искусстве XIX века категория красоты была словно бы ключом к закрытым вратам цветущего сада человечества, несмотря на язвительную критичность сомневающихся натуралистов: «А есть ли это сад и вечна ли красота?»

В практическом XX веке подчас стеснительно забывают о понятии прекрасного, заменяя его понятием «правда истории». Два понятия эти между тем не находятся в состоянии вражды. Поэтому является ли современный роман весами, взвешивающими одну из возможностей истины, взятую у истории, или же этот роман — лишь спроецированный конфликтный момент истории, ставший для писателя вроде бы прототипом художественной правды, — все это поверяется наивысшей мерой — талантом. И здесь хочется вспомнить слова Л. И. Брежнева, сказанные на XXV съезде Коммунистической партии: «Настоящий талант встречается редко».

Из чего же складывается категория современности? Вероятно, это соединенные в одно понятие комплекс явлений, проблем, поступков, усилий множества людей или целого общества в определенный промежуток времени. Чувство и понимание правды складывается из ряда объективных и, если так можно выразиться, субъективных параметров. Вот сюда входит и ничем не заменимый элемент — духовный, — его нельзя потрогать руками и тотчас исчерпывающе определить его качество на ощупь, как это делают, покупая бытовой товар. Люди не сразу постигают духовную сущность какого-либо нового явления.

Хотя в живой литературе непостоянны идеи и изменчивы средства выражения, противопоставлено их отъединять, как нельзя отнять у мужчины мужественность, у женщины нежность и материнство — в противном случае не нарушается ли гармония естественности?

Естественность же эта нарушается, когда произведение художника разрубает на две части, не проникая в суть ее формы как выраженной мысли, а это уже порождает не только нивелированный подход к разным писателям, но и удручающую «мораль середины», одинаковое отношение к совсем не одинаковым талантам, что не могут быть двумя сторонами равнобедренного треугольника. Критерии же нередко смещены, серьезная литература порой подменяется поверхностной литературой, вокруг имен распространяется камуфляжная уравнивательная дымка, в которой то и дело потапки выдаются за чеховых. Таким образом, если посредственность имеет надежду быть признанной за высоту художества, то, наверное, постепенная утрата критериев может привести нас под серые знамена «массовой литературы»,

а не «литературы для масс». Речь идет о том, что случайная, а возможно, и тенденциозная архитектура морали «середины» никак уж не правомерна ни в искусстве, ни в философии, потому что чертежом равнобедренного треугольника трудно правдиво выявить истинные духовные ценности.

Большое искусство общечеловеческой мысли не имеет национальных ограничений, хотя у него есть место и время рождения, неповторимые особенности эпохи и родного крова. В то же время в зрелую пору оно выходит за пределы родительского дома и тогда принадлежит всему человечеству. Но какую бы широкую славу ни завоевал художник, он законнорожденный сын своего срока и своего народа. Ведь почти все, что создали его талант, — язык, грамматика и синтаксис, краски и энергия красок, сюжеты, жизненные конфликты и представление об идеале — в конце концов первооткрыты не им, так как изначально возникли в глубине его народа. Художник, как индивидуальность, пропускающая через себя главнейшие проблемы прошлой и настоящей истории, вносит собственные светотени, акцентировки, обобщения, являясь, в сущности, выразителем мыслей и чувств народа.

Поэтому современное творение «Война и мир» представляется в моем воображении разительно иным, чем знакомый нам великий образец. Я представляю роман, разрушивший рамки классических коллизий и вышедший на

просторы земного шара, потому что весь мир стал сейчас сценой, где сходятся и перекрещиваются линии кардинальных проблем современности: человечество в истории и история в человечестве; земля и человек; человек и его отношение к существу, что сделало его человеком; война, угроза гибели, кровь и надежда; справедливость и жестокость; интернационализм и национализм; движение коммунистической идеологии, завоевание свободы и процесс становления личности; идея самой личности как самого ценного феномена на земле; судьба человечества...

Если характерной чертой, скажем, английской литературы можно назвать лирический комизм и иронию по отношению к бытию, если во французской прозе не исчезает из поля зрения выписанный с изящной подробностью, однако стереотипный уже адюльтер, если западногерманским писателям присущ элемент самосострадания и самооправдания, если американскому искусству свойственна концепция разорванных связей и сексуального буйства, а японскому — метания и тоскливая опустошенность маленького непознанного «я», как бы заблудившегося в цивилизованной пустыне, то наша литература живет беспокойной идеей человека, борьбой человека за человека, за его духовное усовершенствование.

Не эти ли опоры держат на себе смысл жизни и смысл литературы в нашем обществе?!



ПАМЯТЬ

Человеческая память несет в себе огромную энергию. Она прочно сохраняет в себе то, чего уже нет, что прошло и было. Время старательно и ревниво формирует и отшлифовывает наш опыт.

Бывает так: ты душевно спокоен, в весенних сумерках идешь по улицам, читая мокрые афиши, ощущая влажный пахучий ветер апреля; зыбко блестит асфальт на мостовой, отражая вечеряющее небо и уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы; движутся толпы на тротуарах, мимо витрин магазинов — мир, будни, смех, тот особый несеснительный смех людей, когда в их жизни умиротворение, тишина, покой. Это стоит обычный, теплый вечер весны в Замоскворечье, и сиреневые пролеты

улиц начинают зажигаться светом в окнах, вспыхивают рекламы кинотеатров, в переулках шуршат велосипедные шины и прыгают по асфальту желтые мячики света; а от перронов уставших за день вокзалов уходят поезда в затянутую дымкой даль с мигающими фонарями стрелок.

И вдруг прощальные гудки паровозов, и черные облака, багрово подсвеченные снизу закатом, и запах нефти и шпал, и дымы по горизонту, и купы деревьев за вокзальными зданиями, черным вырезанные по красному, — все словно толкнет в грудь.

Но как давно это было...

Мохнатые зарева широко прорезают тьму на горизонте, багровый отблеск дрожит на про-

селочных дорогах, в зрачках солдат, шагающих по обочине... Зареве ближе; разваливаются, трещат, будто выворачиваются в пламени дома, дымом затянуты сады, остро, горячо пыщит в лицо жаром, и везде этот огонь смерти: на брусчатке уже забытых по названию городов, на осколках витрин, на пряжке ремня безобразно раздутого трупа немецкого солдата, лежащего на площади со странно повернутой под голову рукой, с красным от пожара стеклом часов на запястье... Город горит, он пуст.

Мы входим в этот пылающий город. На нас дымятся влажные плащ-палатки, дымятся холки лошадей. Мы прикрываем их попонами. Мы идем вперед.

Потом выкатываем орудия на прямую наводку. Немецкие танки, мрачно блестя в зареве броней, точно облитые кровью, медленно отходят за посадку, на шоссе, поджигают окраины. Видно, как зажигательные трассы впиваются в крыши деревянных домов и занимаются огнем стропила.

Мы идем на запад от Сталинграда по снежным степям, металлически скрипящим под ногами в стужу, пестро-черным от воронок, проходим по земле Украины, где помидоры имеют привкус пороховой гари, а яблоки запекались на обуглившихся яблонях. В темные, осенние, ветреные ночи мы форсируем Днепр, эту реку, озаренную ракетами, по которой плывут трупы, касаясь наших плотов. И между боями, во время короткого отдыха, «на пяточках» правобережных плацдармов лежим, греясь на осеннем солнце, видим, как в желто-золотистых лесах Левобережья встают дымы разрывов, разрушая первозданный покой осени, и листья вместе с осколками летят в густо-синюю воду. Мы думаем: хорошо, если бы в эту воду шлепались поплавки удочек. После лежим на краю окопов, черные, закопченные толовой гарью, в пропотевших гимнастерках, и видим, как косяк «юнкерсов» с тугим гулом разворачивается над переправой.

Мы идем через Польшу; весь горизонт в пожарах; с карпатских высот улицы городов казались нам огненными реками, площади — пы-

лающими озерами. Отступая, гитлеровцы хотели оставить после себя безлюдные пространства.

Если горе имеет свой запах, то война пахнет огнем, пеплом и смертью.

Война — это горький пот и кровь, это после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря, это последний сухарь во взводе, разделенный на пятерых, оставшихся в живых, это котелок ржавой болотной воды и последняя цигарка, которую жадно докуривает, обжигая пальцы, наводчик, глядя на ползущие танки.

Война — это письма, которых ждут и боятся получать; и это особая обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу, и смерти; погибшие молодые жизни, непрожитые биографии, это несбывшиеся надежды, ненаписанные книги, несовершившиеся открытия, невесты, не ставшие женами.

Иногда я вижу, как дети играют в войну; в их понимании война — лишь романтика и подвиги. У детей нет той памяти-опыта, что есть у взрослых.

В войну мое поколение научилось и любить и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. Мы научились ценить то, что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится обыденным: случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, дрожащий отблеск фонарей в лужах, смех ребенка, впервые сказанное слово «жена» и самостоятельное решение.

Мы научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушные, от которого один шаг до предательства.

Наша память — это душевный и жизненный опыт, оплаченный дорогой ценой.

Вот почему, когда по случайным ассоциациям — то ли скрежет трамвая на поворотах, напоминающий свист тяжелого снаряда, то ли похожая на пульсирующий огонь пулемета вспышка автогена в каркасе строящегося дома — память возвращает нас к дням войны, мы начинаем больше ценить тишину, спокойный блеск солнца, прозрачность воздуха.



КНИГА

Можно ли без ощущения трагической утраты представить современный мир, лишенный печатного знака?

На мой взгляд, эта утрата была бы более невосполнимой, чем исчезновение в нашей жизни электрического света, ибо потерял бы бы важнейший механизм в передаче и научных знаний, и накопленных всеми эпохами чувств, а человеческий разум погрузился бы в пучину темноты и нравственного застоя. Мир стал бы удручающе обеднен, прервались бы нити от одного человека к другому, и, надо полагать, наступило бы время невежества, подозрительности и отчуждения.

В самом деле, что значит в жизни человека книга?

Подобно разговорному языку, книга не только средство общения людей, не только проводник информации, но самое главное — это инструмент проникновения в окружающую действительность, взгляд человека на самого себя как на разумную частицу природы.

Вместе с тем книга — это и констатация веж истории, и одновременно верная память человечества даже в том случае, если в ней рассказано не о мировых катаклизмах, решающих судьбу народов, а о проказах молодых людей эпохи Ренессанса, о похождениях рыцаря печального образа Дон-Кихота Ламанчского, о судьбе чиновника Башмачкина или о страданиях бедного станционного зрителя, о смерти Ивана Ильича, о маленькой беспомощной Мисюсю или о несбывшихся удовольствиях господина из Сан-Франциско на живописных берегах Капри.

Что знали бы мы о быте, нравах, умонастроении и характерах людей давно и не так давно ушедших эпох, если бы это прошлое не было сохранено в печатном знаке, способном волшебным образом восстановить биографию человечества во всех ее сложностях, поисках, заблуждениях, открытиях и попытках найти и утвердить смысл бытия. Будущее рождается не только из непосредственного настоящего, оно рождается и из прошлого, ведь наше современное сознание и наше отношение к настоящему — это результат всего опыта миллионов живших до нас, предельно сжатая и трансформированная сумма их чувств.

Не будь возможности разумом и эмоциями пройти по дальним и ближним дорогам истории, скажем, по трагическому пути Спартака, по задымленной равнине Бородинского поля, по пропитанным кровью полям сорок первого года, мы оглядывались бы назад, будто в туман и пустоту, утратив начала, а стало быть, и концы,

ибо ничего нет и ничего не может быть без великих точек отсчета.

Книга — это душеприказчик, безупречный хранитель духовных ценностей всех веков и всех народов и это негаснущий источник света, посланный еще из детства человечества к нам, это сигнал и предупреждение, боль и страдание, смех и радость, жизнеутверждение и надежда, это символ превосходства силы духовной над силой материальной, что является высшим достижением сознания.

Книга — это познание развития мысли, философских течений, национально-исторических условий общества, породивших на разных этапах веру в добро, разум, просветительство, революционную борьбу под знаменами свободы, равенства и справедливости социальных отношений.

Многое, неизмеримо многое может объяснить, открыть и подчинить наука, мыслящая категориями понятий, создающая вещи, системы и формулы, но по своей сути она все-таки не способна исследовать одно — чувства людей, творить образы людей во времени, что делает в силу предназначенной ей судьбы литература.

Они близки, наука и искусство, они познают даже близкие сферы — возможности человека в этом мире, — и вместе с тем инструмент познания различен, и, конечно же, «Одиссею» Гомера, русскую одиссею Льва Толстого «Война и мир» или наши современные одиссеи «Тихий Дон» Шолохова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого немислимо заключить в формулу, подобно тому как это можно сделать в науке, после открытия какого-либо закона вселенной.

Искусство — это историческая энциклопедия человеческих ощущений, противоречивых страстей, желаний, взлетов и падения духа, самоотверженности и мужества, поражений и побед.

Человек, раскрывающий книгу, всматривается во вторую жизнь, как в глубинную сферу зеркала, ища собственного героя, ответы на собственные мысли, невольно примеряя, скажем, чужую судьбу и чужое мужество к личным чертам характера, сожалея, сомневаясь, досадуя, смеясь, плача, сочувствуя и соучаствуя, — и здесь начинается воздействие книги. Все это и есть «заражение чувствами», по выражению Льва Толстого.

В судьбе почти каждого печатное слово сыграло неповторимую роль, и величайшего сожаления достоин тот, кто не был в плену серьезной книги — тем самым он оградил себя и укоротил дни своей жизни, отринув вторую действительность, второй опыт, наконец.

Я с удовольствием могу сказать, что наша страна самая читающая. В весеннем Париже мне приходилось видеть знаменитую набережную Сены со знаменитыми лавочками букинистов, окруженных молчаливыми библиофилами, трепетно ласкающими пальцами страницы книг — так ласкают только детей. Глядя на них, я вспомнил дальний поселок в Сибири, на Нижней Тунгуске, и новый промышленный центр Тольятти, где жадность и любовь к книге поражали меня необыкновенно.

Всякая книга — результат писательских усилий, а духовные ценности неоднородны. Мы должны бояться девальвации читательского вкуса, предлагая и выдавая ему вещь непервосортной пробы за жемчужину изящной словесности. Есть книги, подчас возведенные по раз-

ным стечениям обстоятельств в высокий ранг безупречности, книги, увешанные лаврами, но не выдерживающие строгой проверки правдой, этим единственным безотказным мерилom искусства. И есть книги скромные, то есть не возведенные в чины, однако предельно искренние, чистые, мудрые, насквозь пронизанные благой силой.

Заботясь о вкусе читателя, мы, а не время, должны делать выбор и отбор, ибо время хоть и справедливый судья, но судья нескорый. Мы должны думать о выборе книги еще и потому, что уравнение малохудожественной читательской беллетристики и произведений эстетического достоинства смещает критерии истинные и в конце концов подтачивает веру в полновесное слово.



СОДЕРЖАНИЕ

1	<p>Ожидание 2</p> <p>Оружие 4</p> <p>Звезда детства 4</p> <p>Крик 5</p> <p>Рассказ женщины 5</p> <p>Отец 6</p> <p>Мать 7</p> <p>Ballistes Capriscus 8</p> <p>Стандарт 8</p> <p>Непостижимое 9</p> <p>Ссора 9</p> <p>Миг 10</p> <p>Продажа 10</p> <p>Идеал 11</p> <p>Схимник 12</p> <p>Вдова 13</p> <p>Малярия 14</p> <p>В некий час 16</p> <p>Но все-таки... 17</p> <p>Пыль 17</p> <p>Бессилие 18</p> <p>Красота 18</p> <p>Зеркало 19</p> <p>«Как мне жаль тебя...» 21</p>	<p>Неравная доля 35</p> <p>Лунный свет 35</p> <p>Нас было много 36</p> <p>Атака 36</p> <p>В окружении. <i>Рассказ лейтенанта</i> 37</p> <p>Женственность 37</p> <p>Реставратор 38</p> <p>Сны</p> <p style="padding-left: 20px;">Морячок 38</p> <p style="padding-left: 20px;">Фраза 39</p> <p style="padding-left: 20px;">Часы 39</p> <p style="padding-left: 20px;">Она приснилась. <i>Рассказ режиссера</i> 40</p> <p style="padding-left: 20px;">Посланец 40</p> <p style="padding-left: 20px;">У кассы 41</p> <p style="padding-left: 20px;">Обман 41</p> <p style="padding-left: 20px;">Погоня 42</p> <p style="padding-left: 20px;">Возле дороги 42</p> <p>Рассказ балерины 43</p> <p>«Почему я пожал ему руку?» 43</p> <p>Соседи 44</p> <p>Давнее гадание 45</p> <p>Щенок 45</p> <p>Перед зеркалом 46</p> <p>«Не надо останавливать машину». <i>Рассказ моего друга</i> 46</p> <p>Ночной разговор 47</p> <p>Взгляд 48</p> <p>На круги своя 48</p> <p>Бегство 50</p> <p>Предел и надежда 53</p>
2	<p>Свет в окне 23</p> <p>Вечером 24</p> <p>Апрельский день 25</p> <p>Осенью 26</p> <p>Быки 26</p> <p>Тост 29</p> <p>Звезда и Земля 30</p> <p>Отчаяние 31</p> <p>Диалог на скамейке в парке 32</p> <p>Диалог в очереди 32</p> <p>Непонимание 33</p> <p>Самый приятный запах 33</p> <p>Разговорчивый 34</p> <p>«Как я бросил курить» 34</p> <p>«Зачем я так рано родился?» 34</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Париж, воскресенье 54</p> <p>Венеция 56</p> <p>Город Арнхем, 100 км от Амстердама 57</p> <p>Щегол 58</p> <p>Звездные часы детства 58</p> <p>Единое 59</p> <p>Свобода 59</p> <p>Написанное 59</p> <p>Лес и проза 60</p> <p>Степь 60</p> <p>Талант и слава 62</p>

В тайге	62	Мгновение мгновения	73
О медведе		Проводники	75
Первый рассказ	64	Вопросы	75
Второй рассказ	64	Поэзия	77
Третий рассказ	64	Внутреннее освещение	78
Четвертый рассказ	64	Имя этого судьи — правда	79
Утро	65	Герой из повести	81
Две грозы	65	Мое поколение	83
Охотник и рыбак	66	Сталинград	85
Клара. <i>Рассказ художника</i>	67	Хранитель ценностей	88
Частица от идеальной женщины	70	Память	90
В осенние ночи	72	Книга	92
Прошлое	73		

Юрий Васильевич Бондарев

МГНОВЕНИЯ

Редактор *Г. Панкратова*

Художественный редактор *С. Гераскевич* Технический редактор *Т. Таржанова*

Корректор *М. Пастер*

Художник *А. Зиневич*

Фото на первой и третьей полосах обложки *А. Зиневича*

Сдано в набор 03.08.78. Подписано в печать 12.09.78. А01009. Формат 84×108^{1/16}. Бумага газетная. Печать высокая. 10,08 усл. печ. л. 9,654 уч.-изд. л. Тираж 1 609 000 экз. (2-й завод 500 001—1 609 000). Заказ 121 Цена 46 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Васманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26
Отпечатано на Чеховском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Чехов, Московской обл., Заказ 2324

